# Джеймс Крюс

# Мой прадедушка, герои и я

*OCR & SpellCheck: Zmiy (zmiy@inbox.ru), 24 октября 2003 года*

*«Конопницкая М., Пройслер О., Крюс Дж. О гномах и сиротке Марысе. Крабат. Мой прадедушка, герои и я: Пер. с польск. и нем.»: Правда; Москва; 1988*

## Аннотация

В книге «Мой прадедушка, герои и я» прадедушка‑поэт помогает правнуку‑поэту научиться отличать героический подвиг, совершаемый для спасения людей, от лихачества, бравады, поисков опасности ради самой опасности.

# Джеймс Крюс

# Мой прадедушка, герои и я

# Учение о героизме, со стихами и разными историями

Краткое учение

о героях и героизме

со стихами и разными

историями,

придуманными на чердаке

моим прадедушкой и мною,

переписанное на чистовик

для развлечения

и поучения детей

и их родителей

Джеймсом Крюсом…

## *Понедельник,*

*в* *который я, хромая, перебираюсь к моему прадедушке. Речь здесь пойдет о порядке, столь любимом домашними хозяйками, и о творческом беспорядке, столь необходимом поэтам, о том, как даже трусливый Ян Янсен проявил однажды мужество, и о том, что сотня трупов не свидетельствует еще о героизме, доказательством чему может служить пример некоего рыцаря. А также о том, как могут пригодиться обои, если, размотав рулон, использовать их оборотную сторону. Итак,*

###### ПОНЕДЕЛЬНИК

Когда мне исполнилось четырнадцать лет, прадедушке моему было уже восемьдесят девять. Но он был еще крепок и бодр. Летом он каждое утро спускался к причалу и беседовал с рыбаками, возвращавшимися на остров с уловом. А зимой чинил сети и вырезывал поплавки к веревкам, на которых опускают садки для ловли омаров.

Но вскоре после того дня рождения, когда ему стукнуло восемьдесят девять (было это в октябре), с ним случился удар — так ударяет молния в большое старое дерево. Удар не убил прадедушку — он был еще достаточно крепок, — но ему пришлось месяца два пролежать в постели. Когда же доктор разрешил ему встать, оказалось, что ноги его не слушаются. И ему купили кресло на колесах.

Сперва прадедушка проклинал эту дурацкую каталку, но понемногу стал к ней привыкать, а потом она и вовсе ему полюбилась. И вскоре он принялся колесить в своем кресле по всей квартире.

Это пришлось совсем не по вкусу моей бабушке, у которой он жил. И тогда она призвала на помощь меня — в качестве «успокоительного средства для этого околеселого деда». Дело в том, что я был, во‑первых, любимцем моего прадедушки, а во‑вторых, его учеником по части сочинения стихов и рассказов. Кроме того, я как раз незадолго до этого натер себе пятку, и на ней получился нарыв (и все из чистого тщеславия: ботинки мне жали, а я молчал). Поэтому я пока не ходил в школу и мог целиком посвятить себя прадедушке.

Бабушка, к которой я перебирался, жила в верхней скалистой части нашего острова Гельголанда. И потому мы прозвали ее Верховной бабушкой (другую бабушку, жившую у подножия скалы, в низинной части острова, мы, разумеется, называли Низинной бабушкой).

Дня за два до моего переселения — дело было зимой, в декабре, — Верховная бабушка пришла к нам и заявила моей матери, что Старый со своим креслом на колесах перевернул ей весь дом вверх дном. Если так будет продолжаться, придется развесить по всей квартире дорожные знаки.

— Пошлем‑ка к нему Малого, — сказала она. — Пускай их вместе сочинительствуют. Может быть, в доме наступит наконец покой. (Старый был не кто иной, как мой прадедушка, а Малый — я. Дело в том, что и его и меня — каждого в свое время — прозвали Малышом. А потом, чтобы отличить друг от друга, стали звать Старый Малыш и Малый Малыш. А потом, для краткости, просто Старый и Малый.)

Так вот, в одно ясное морозное воскресенье я, хромая из‑за нарыва на пятке, приковылял к Старому на Трафальгарштрассе, и он, здороваясь, подмигнул мне:

— Женщины постановили, чтобы мы с тобой опять посочиняли вместе стихи, — сказал он. — Ну как, доставим им такое удовольствие?

— Еще бы! — ответил я.

— А ты помнишь, Малый, когда мы с тобой занимались этим в последний раз?

— Да ведь мы этим делом часто занимаемся.

— Нет, Малый, я спрашиваю, когда мы с тобой в последний раз всерьёз рифмоплетствовали?

— Четыре года назад, прадедушка. Когда Аннекен и Иоганнекен корью болели.

— А, верно, верно!

Прадедушка поудобнее устроился в кресле на колесах и обратился к своей дочери — моей Верховной бабушке:

— Протопи‑ка завтра с утра обе каморки на чердаке. Тогда мы будем сочинять стихи, а не вертеться тут у тебя под ногами.

— Топить чуланы? — ужаснулась Верховная бабушка. — А ты знаешь, сколько на это угля уйдет? Ты что думаешь, мы — миллионеры?

— Ну что ж, — сказал прадедушка, — тогда придется нам писать стихи здесь, внизу. Тут хоть тепло.

— Здесь внизу?! — возмутилась Верховная бабушка. — Ни в коем случае! От этих стихов все хозяйство летит кувырком. У меня есть кой‑какой жизненный опыт! Можете стихоплетствовать в спальне, на втором этаже. Никто вам не мешает.

— В постели хорошо сочиняется, — сказал мой прадедушка. — Но спальни душат любую светлую мысль. Сочинять стихи на втором этаже — это не пойдет.

— Не пойдет, — повторил и я.

— Все мужчины одинаковы! — проворчала Верховная бабушка. — Завтра вытоплю чердак.

Для нас, поэтов, это была полная победа. Упоенные ею, мы отправились на второй этаж — спать. Впрочем, на следующее утро — в понедельник — нечего было и думать о переселении на чердак. Верховная бабушка с помощью четырех соседок превратила великолепный беспорядок, царивший в чуланах, в отчаянно скучный порядок, или, как говорят домашние хозяйки, в уют. Уборка продолжалась до самого обеда. Сперва замелькали веники, тряпки и щётки для натирки пола, потом метелочки для смахивания пыли, потом на чердак поплыли гардины — метр за метром укладывались они в сплошные сборки, — и, наконец, вознеслись целые горы подушек.

Мы, поэты, сидели, забившись в угол столовой, в обед без всякого аппетита похлебали наспех приготовленный суп и вздохнули свободно только тогда, когда (около трех часов) Верховная бабушка наконец объявила:

— Можете перебираться наверх. Кресло на колесах принесет дядя Яспер.

Хромая и ковыляя, вскарабкались мы, Старый и Малый, по крутой лестнице на чердак, под самую крышу. Когда дядя Яспер тащил наверх кресло, пришлось и нам приложить немало усилий — оно еле‑еле пролезло между перилами. Но в конце концов и этот Пегас[[1]](#footnote-1) на колесах оказался на чердаке, и прадедушка тут же объехал на нем наши новые владения.

Чердак изменился до неузнаваемости. Там, где раньше висело белье и сушилась рыба, на полу лежала слегка выцветшая красная дорожка. Она растянулась от самой двери моей каморки с окном на север до самой двери прадедушкиной каморки с окном на юг.

— Ага, — сказал Старый, — наконец‑то поэтов признали. Их путь устлан коврами. Боюсь только, наши комнаты непригодны для поэзии. Придется уж нам самим навести творческий беспорядок, столь необходимый поэтам.

Прадедушка, как всегда, оказался прав. Обе каморки имели такой вид, словно в них устроили выставку мебели. На столах и комодах лежали вязаные салфеточки, окошки были занавешены гардинами с пышными сборками, заслонившими от нас белый свет, на диванах и креслах громоздились подушки, словно в каком‑нибудь гареме, да еще каждой подушке был придан легким шлепком вид ушастого зайца. Только одно свидетельствовало об уважении к поэзии и поэтам — выпуски «Морского календаря», сложенные невыносимо ровненькими стопочками. При виде этакой комнатки могла пропасть всякая охота писать стихи.

— Где торжествуют домашние хозяйки, там гибнут поэты, — вздохнул мой прадедушка. Он приколесил ко мне в своем кресле, подталкивая колеса руками. Гудящая железная печурка уже обогрела комнату.

— Писать мы будем на обоях, Малый, — продолжал прадедушка. — На оборотной стороне. Я только что нашел тут на чердаке целый склад обоев. В углу, за твоей дверью.

— Да ведь этими обоями Верховная бабушка собиралась оклеить столовую к рождеству!

— На стене видна только лицевая сторона обоев, Малый. И вообще, должен тебе сказать, в жизни не часто увидишь оборотную сторону.

Что я мог возразить на такое разумное замечание? Я послушно принес рулон обоев, запер, осторожности ради, дверь и сказал:

— Ну, можно начинать.

— Вздор! — буркнул прадедушка. И вытащил из заднего кармана своих синих рыбацких штанов два толстых карандаша. — Вздор это — начинать вот так сразу, — повторил он. — Я хочу покурить — это раз. Убери‑ка, брат, да поскорее, все подушечки и гардины — это два. А в‑третьих, я не умею писать стихи по расписанию. И, в‑четвертых, мне нужна идея.

Долой гардины и подушки! Да здравствует табак и идеи!

Я закинул гардины на карниз, пошвырял все подушки на диван, проковылял по красной дорожке в прадедушкину комнату за трубкой, табаком и зажигалкой, вернулся обратно, запер за собой дверь, улегся на гору подушек и выпятил нижнюю губу.

Я и теперь, как когда‑то мой прадедушка, выпячиваю нижнюю губу, если мне в голову приходит идея. Наоборот, к сожалению, обычно не получается — как ни выпячивай нижнюю губу, идеи в голову не приходят.

Так было и тогда, в каморке на чердаке. Пока прадедушка дымил трубкой, катаясь в своем кресле взад и вперед по комнате, я лежал на горе подушек, глазел через маленькое окошко на соседние крыши, и в голове у меня не было никакой даже самой плохонькой идейки.

У прадедушки, судя по всему, дела обстояли лучше. Я вдруг увидел, как его нижняя губа стала медленно выпячиваться. Наконец он решительно поджал ее и, затянувшись, сказал:

— Есть, Малый!

— Что есть? — растерянно спросил я.

— Идея! Пожалуй, даже хорошая идея. Помнишь, как мы с тобой четыре года назад сочиняли разные забавные стихи и истории?

Я кивнул.

— Ну вот. А теперь, когда мы научились сочинять, давай придумывать всякие истории не просто так, а про серьезные вещи — про жизнь, про людей.

— А что можно придумать про людей, прадедушка? У всех людей один нос, два глаза, два уха, один рот и четыре прадедушки.

— Но не все люди герои, — сказал мой прадедушка.

— Герои, по‑моему, все скучные, — поморщился я. — Не нравятся мне эти подвиги Зигфрида[[2]](#footnote-2) — как он там всех убивал своим мечом…

— Мне тоже не нравятся, — усмехнулся прадедушка. — Я и вообще не считаю Зигфрида героем.

Тут я заинтересовался.

— Как так? — спросил я. — Разве Зигфрид не герой?

— Видишь ли, Малый, есть разные мнения насчет того, что такое герой. Вот мне и пришла идея: давай писать стихи и рассказы про героев. И попробуем разобраться, что это значит — быть героем. Я, например, думаю, что героем можно стать, попав в особенное положение, — нельзя быть героем всю жизнь, с колыбели до гроба. Вот, по‑моему, даже Ян Янсен однажды, ну не то чтобы стал героем, но, во всяком случае, проявил настоящее мужество.

Услышав это, я рассмеялся — про трусость Яна Янсена на нашем острове ходили легенды.

— Это длинная история, Малый! Наберешься терпения? — спросил прадедушка.

— Еще бы!

— Ну тогда слушай.

Прадедушка откинулся на спинку кресла, пододвинул поближе пепельницу, затянулся поглубже и начал свой рассказ.

###### РАССКАЗ ПРО ЯНА ЯНСЕНА И ПРЕКРАСНУЮ ЛЕДИ ВАЙОЛЕТ

Ян Янсен был в свое время, в конце прошлого века, предсказателем погоды на острове Гельголанде. Он предсказывал все штормы, предрекал все засухи. Ему были ведомы законы неба и моря, понятны их настроения. Моряки, прежде чем отправиться в плавание, всегда обращались к нему за советом. Рыбаки спрашивали его совета, когда косяки сельдей обходили остров или омары по непонятной причине покидали рифы, на которых селились десятилетиями.

А был Ян Янсен человеком маленького роста, и боязливость его вошла в поговорку. Если кому‑нибудь не хватало мужества что‑нибудь совершить, обычно говорили: «Не веди себя, как Ян Янсен!»

Маленький Ян боялся и собак, и кошек, и мышей; он робел перед английским наместником, управлявшим островом, и опасался аптекаря, который не пропускал случая над ним подшутить. Он страшился темноты, а уж если ему случалось выйти с рыбаками в море, когда крепчал ветер, он просто дрожал, как заяц.

Зато прекрасная леди Вайолет из Лондона, сестра английского наместника, жившая на острове у своего брата, обладала тем, чего не хватало Яну: смелостью, граничившей с бешеной отвагой. Личико у нее было ангельское, а сердце — львиное.

Однажды Ян Янсен увидел с высокого скалистого берега, что леди Вайолет отправилась на лодке в открытое море, хотя на мачте, укрепленной на причале, был поднят черный шар — сигнал надвигающегося шторма. Для самого Яна Янсена этот сигнал был излишним: и на небе, и на море он давно уже видел множество знаков, предвещавших шторм. И потому он озабоченно покачал головой, глядя вслед удаляющейся лодке. Он даже поднял вверх руки, в надежде, что леди поймет его предостережение. Но она не заметила маленького Яна. Резкими ударами вёсел она гнала лодку вперед — все дальше и дальше.

«Не будь она так чертовски ловка, я не дал бы за ее жизнь ни полушки, — пробормотал Ян. — Добром это не кончится!» Он глубоко вздохнул и пошел к себе домой попить чаю.

Но не прошло и часа, как он снова вышел на берег посмотреть, что сталось с лодкой, потому что очень волновался. Теперь можно было разглядеть вдали на воде только черную точку, а шторм — уж это‑то Ян знал наверняка — неминуемо надвигался. Правда, ему удалось разглядеть в бинокль, что леди уже повернула лодку назад и гребёт к острову.

«Да что толку? — рассуждал сам с собой маленький Ян. — Шторм уже так близко, а лодка еще так далеко!»

Не успел он пробормотать это вслух, как с моря налетели первые порывы ветра. Ян знал, что сейчас разразится шторм небывалой силы — жители острова вряд ли такой и припомнят. Он поспешил домой, натянул резиновые сапоги и брезентовую робу, нахлобучил зюйдвестку, затянул покрепче ремешок под подбородком и торопливо зашагал к причалу.

Спускаясь по лестнице, ведущей со скалы в низменную часть острова, он то и дело хватался за перила — ветер сбивал его с ног. Дождь хлестал все сильнее, над морем засверкали первые молнии.

Когда маленький Ян добрался наконец до причала, он увидел, что там уже спускают спасательную лодку, а рыбаки кидают монетку, чтобы решить жребием, кому отправляться в море.

«Это безумие, — подумал Ян, — шестеро людей рискуют жизнью из‑за глупого каприза женщины, у которой к тому же и лодка‑то гораздо лучше!» Трусость, вошедшая в поговорку, чуть было не удержала его от того, чтобы высказать это вслух. Но тут вдруг его охватил гнев. Он подошел к рыбакам и громко сказал:

— Ехать бессмысленно, ребята! Шторм будет такой, какой бывает раз в сто лет. Та лодка еще может спастись, а ваш тяжелый баркас наверняка пойдет ко дну. Чистое безумие выходить в море!

— Мы должны сделать все возможное, Ян, — ответил один из рыбаков. — Наш долг — хотя бы попытаться ее спасти!

Другой рыбак попросту оттолкнул Яна:

— С дороги, коротышка! Мы отчаливаем!

Яна Янсена в эту минуту нельзя было узнать. Он ухватил рыбака за робу и сказал спокойно, хотя стал белым как полотно:

— Погляди на море! А ведь это только начало! Если вы перевернетесь, будет шесть утопленников!..

Он выпустил из рук его робу и пошел, шатаясь от ветра, под дождем вдоль причала.

Рыбаки переглянулись. Таким они никогда не видели Яна Янсена. Вот уж теперь‑то каждому стало ясно, какой он трус. И все‑таки что‑то в его поведении заставило их задуматься.

Когда спасательная лодка отчалила — на пристани тем временем собралась толпа, — море уже разбушевалось вовсю. Валы перекатывали через причал. Небо и море слились. Только чудом спасательной лодке удалось отойти от берега. Еще один раз она показалась вдали, на гребне высоченной волны, и исчезла.

Островитяне, собравшиеся на пристани, испытывали страх за гребцов и гордились их мужеством. На Яна Янсена все глядели с презрением.

Шторм набирал силу, буря бушевала все неистовей. Толпе пришлось разойтись, потому что море вздымалось все выше и вода уже начала заливать ближние подвалы. Теперь все население острова пришло в движение. С высокого берега многие наблюдали за морем в подзорную трубу. Но густая сетка дождя заслоняла все. Иногда то одному, то другому чудилось, будто он различает вдали лодку. Но всякий раз оказывалось, что это только тень водяного вала.

Вскоре спустилась тьма. Зажгли газовые фонари и керосиновые лампы. Стоявшие у причала притихли.

И вдруг все закричали в один голос:

— Вон они!

Лодка вынырнула совсем близко от берега. Она поднялась на волне, потом опустилась вниз и исчезла.

— Они не могут пристать! Надо бросить спасательные круги! — крикнул кто‑то.

В то же мгновение на гребне волны вновь показалась лодка, ее было плохо видно, но все ее заметили. Казалось, до нее рукой подать… И вдруг ее стремительно понесло вместе с пеной прямо на затопленный берег. И раньше, чем отхлынувшая волна успела затянуть лодку обратно в море, все увидели какую‑то одинокую фигуру, перепрыгнувшую через борт.

Двое рыбаков отважились броситься в воду; но не успели они приблизиться к человеку, борющемуся с волнами, как огромный вал вновь подхватил его и повлек в море. Новая волна опять потащила его за собой к берегу, и на этот раз рыбакам удалось его схватить, прежде чем отхлынувший вал затянул его в свой водоворот. Это оказалась леди Вайолет.

Шестерых рыбаков, отправившихся ее спасать, напрасно ждали до самого утра. Только через несколько дней в разных местах побережья вынесло волной их трупы.

Неделю спустя всех шестерых хоронили на маленьком кладбище острова. Леди Вайолет от имени своего брата‑наместника, находившегося в это время в Лондоне, произнесла надгробную речь.

— Вы вышли в море из‑за меня, — обратилась она к лежащим в могиле. — Я, играя своей жизнью, не подумала о том, что подвергаю смертельной опасности и вас. Поздно просить прощения. А вам, живые, я скажу, — обернулась она к плачущей толпе, — что это было не геройство, а безумие — выходить в море. В такую бурю, на такой лодке никто не мог бы вернуться назад. Только один из вас — маленький Ян Янсен нашел в себе мужество воспротивиться этому безумию. Он знал обе лодки. Он знал и гребцов. Он считал, что у меня больше шансов на спасение, чем у шестерых спасателей. Шесть жизней за одну — слишком дорогая плата. Он был прав: храбрость должна быть не слепой, а разумной. Давайте же никогда не забывать об этом!

Пока прадедушка рассказывал, на чердаке стало темно. Теперь я повернул выключатель, и мы оба зажмурились от яркого света.

— Ну, — спросил Старый, — а ты как думаешь насчет Яна Янсена, Малый?

— Я думаю, прадедушка, что шестеро рыбаков в спасательной лодке все равно были героями. Они сами понимали, на какую опасность идут. И все‑таки вышли в море, чтобы спасти человека.

— Может быть, Малый, они понимали это не так хорошо, как Ян Янсен. Если бы они знали наверняка, что у них нет ни малейшей возможности спастись, и все же вышли в море, я назвал бы это отчаянным безрассудством. А безрассудство — это еще не героизм.

Я хотел было что‑то ему возразить, но в это время послышались шаги на чердачной лестнице. Прадедушка тоже повернул голову и прислушался. А потом сказал:

— Запихни‑ка поскорее обои под диван, Малый! И отопри потихоньку дверь. Да, и спусти гардины!

Как мне удалось исполнить сразу все его указания, я и сам не знаю. И все же мне это удалось. Когда Верховная бабушка переступила порог чулана, мы встретили ее невинными улыбками. Гардины красовались на окне, рулона словно и не бывало.

Верховная бабушка принесла нам наверх ужин — бутерброды с колбасой и сыром, редиску и чай.

— Хватит вам сочинительствовать, — сказала она и оглянулась, словно ища чего‑то.

— У вас что же, и бумаги нет? — недоверчиво спросила она. — Может, вы опять пишете на досках, как тогда, четыре года назад?

— Мы пишем в воздухе, Маргарита, — улыбнулся прадедушка. — Рассказываем друг другу всякие истории. А если нам понадобится их записать, уж что‑нибудь нам да подвернется.

Верховная бабушка хотела, видно, ответить что‑то очень колкое, но тут вдруг заметила, что я сижу сразу на всех подушках.

— Пять женщин проветривали эти подушки, выбивали и клали как можно красивее! — сказала она. — А вы за пять минут что из них сделали?

— Лежбище поэтов! — рассмеялся прадедушка. — А что, разве не красиво? Не удобно?

— У меня другие представления о красоте и удобстве, — возразила Верховная бабушка, язвительно поджав губы. Вслед за этим она удалилась вместе с карманным фонариком, без которого теперь, когда стемнело, нечего было и думать к нам соваться — на чердаке не было лампочки.

За ужином мы с прадедушкой продолжали говорить про Яна Янсена. Я согласился, что маленький Ян, трусливый от природы, на одно мгновение проявил мужество почти героическое: не побоявшись презрения целого острова, удерживал рыбаков от бессмысленной гибели.

— Чтобы одержать победу над собой, всегда требуется большое мужество, — сказал прадедушка. — Вот это‑то мне и нравится в греческом герое и полубоге Геракле[[3]](#footnote-3). Он, правда, чересчур любил похвастать своей силой и многие подвиги совершил просто из послушания Зевсу[[4]](#footnote-4), но ведь это он избавил людей от стольких страшных бедствий — от Немейского льва, который опустошал все окрестности, от Лернейской гидры, уничтожавшей целые стада, от Стимфалийских птиц, нападавших на людей и животных и разрывавших их медными клювами…

— А Зевс что, давал ему такое задание — совершить подвиг, да, прадедушка?

— Нет, хуже, Малый. Он приказал ему служить боязливому и слабому царю Еврисфею[[5]](#footnote-5). И этот жалкий трус придумывал для Геракла опаснейшие поручения, иной раз совершенно бессмысленные.

— И Геракл их всегда выполнял?

— Да, Малый, всегда! Я даже когда‑то описал все его подвиги в шуточных стихах. Кое‑что я, правда, шутки ради в них изменил, но в основном держался легенды. А тетрадка эта хранится здесь на чердаке в сундуке, слева за дверью. Достань‑ка ее, пожалуйста. Она в черной клеенчатой обложке. Только не забудь захватить фонарик.

Я не забыл захватить фонарик, нашел тетрадь, принес Старому, и он тут же начал ее перелистывать.

— Ну вот, хотя бы про Цербера[[6]](#footnote-6), адского пса, — сказал он немного погодя. — Пришлось Гераклу спуститься в подземное царство. Для полубога, который привык жить на земле, на свету, приключение не из приятных. Тут надо преодолеть неохоту, да что там неохоту — полное отвращение. Но Еврисфей приказал Гераклу привести адского пса, и тот бесстрашно отправился в царство Аида. Хочешь послушать?

— Конечно, хочу, прадедушка.

— Ну, так вот! — Старый надел на нос очки, поднял тетрадь к лампе и начал читать:

###### Баллада про Геракла в подземном царстве

Геракл был смел и полон сил

И, как гласит преданье,

Геройский подвиг совершил,

Великое деянье.

Царь Еврисфей сказал: «Добудь

Мне Цербера из ада!»

И вот Геракл пустился в путь —

«Раз надо, значит, надо».

А жил пес Цербер под землей,

На том ужасном свете,

Где все покрыто черной мглой

И фонари не светят.

И здесь услышал страшный рев

Герой наш в львиной шкуре —

Как будто били в сто тазов! —

И пес предстал в натуре:

Взвился его змеиный хвост,

На нем мелькнуло жало

И, словно десять тысяч ос,

Героя искусало.

Но тот, превозмогая боль,

За хвост схватил зверюгу —

Перевязал, как бандероль,

Он пса крест‑накрест туго.

Аид, с тоской взглянув на пса,

Сказал, вздохнув: «Ну что же!

Корми собаку по часам,

Не раньше и не позже!»

«А как же!» — отвечал герой

С почтительным поклоном

И, пса взвалив, как куль с мукой,

Пошел с ним за Хароном[[7]](#footnote-7).

Минуя села, города,

Он пса волок к столице,

Людей встречал он иногда,

Но все спешили скрыться.

Царь Еврисфей, взглянув в окно,

Пробормотал невнятно:

«Какой прелестный пёсик… Но

Тащи его обратно!

Пора ему вернуться в ад,

А то еще укусит!»

И пса Геракл повёл назад,

Смеясь: «А царь‑то трусит!»

Так завершил он подвиг свой,

И вот любой сказитель

О нём поет, что он герой —

Собачий укротитель.

Тетрадь в клеенчатой обложке закрылась, и прадедушка сказал:

— Конечно, Малый, эта ловля пса была совершенно бессмысленной затеей. Еврисфей придумал ее, чтобы проучить Геракла. Не знаю, геройство ли — выполнять задание, понимая, что это сущая бессмыслица. Я хотел тебе только показать, как этот светлый полубог, победив себя, спустился во тьму царства мертвых. А одержать победу над собой — не так уж мало.

— С этого часто начинают герои, — докончил я.

— Ого, Малый, — рассмеялся прадедушка, — ты начинаешь читать мои мысли! Но я вижу, ты выпячиваешь губу. Что же пришло тебе в голову?

— Я вот думаю, прадедушка: наверно, забавно было бы сочинить какие‑нибудь стихи про лжегероев. Когда как следует поймешь, что это не герои, тогда и распознаешь потом настоящих героев.

— Мудрое соображение, Малый!

Старый пододвинул ко мне свою тарелку, на которой еще лежало два бутерброда, и продолжал:

— Давай‑ка напишем стихи про мнимых героев — все их считают героями, а они вовсе и не герои. Но сперва съешь‑ка мои бутерброды, я ведь знаю твой аппетит. И расстели обои на столе.

Уничтожив все, что оставалось на тарелке, я поставил посуду на комод, разложил на столе обои, оборотной стороной кверху, и попросил у прадедушки карандаш. Теперь стол представлял собою прекрасную бумажную гладь. Мы решили начать писать с середины, а стопку «Морских календарей» положить на стол вместо перегородки, чтобы не мешать друг другу.

— Про героев, — предупредил меня прадедушка, — обычно сочиняют баллады. Давай уж и мы с тобой держаться этого правила. Я собираюсь написать балладу про наёмного солдата — ландскнехта!

— А я тогда напишу про рыцаря!

Вскоре мы оба уже сидели с выпяченной нижней губой и поспешно покрывали каракулями обои.

Когда я не знал, что писать дальше, я подсыпал угля в печку, некоторое время глядел в огонь, и вот уже мысли мои текли снова.

Мы закончили баллады почти одновременно и стали тянуть жребий, кому читать первым. Вытянул я.

И начал читать, глядя на обои:

###### Баллада о рыцаре Зеленжуте

А ну, скажите, дети,

Слыхали кто‑нибудь,

Что рыцарь жил на свете

По кличке Зеленжуть?

Кто на него вполглаза

Осмелился взглянуть,

На землю падал сразу:

«Как жуток Зеленжуть!»

И всех смятенье брало,

И всех кидало в страх:

Пылал и сквозь забрало

Огонь в его очах.

С куриными мозгами,

Зато силен как бык,

Победой над врагами

Он хвастаться привык.

Во власти этой страсти

Искал он вечно драк,

Но быстротечно счастье

Задир и забияк.

И раз под синим небом

Он пал, пронзенный в грудь.

Ах, был он или не был,

Тот рыцарь Зеленжуть?

— Браво, Малый! — воскликнул прадедушка и даже захлопал в ладоши. — Ты здорово докопался до сути. Рыцари такого рода были профессиональными убийцами. И они отлично владели своим ремеслом. Но даже сотня трупов — это еще не доказательство героизма. А теперь послушай‑ка мои стихи.

Старый водрузил на нос очки и стал читать, заглядывая в другую половину развёрнутого рулона:

###### Баллада о ландскнехте во Фландрии

Жил когда‑то ландскнехт во Фландрии.

Он — ать‑два! — обошел всю страну,

Всё шагал и шагал по Фландрии,

Всё искал и искал войну.

Ландскнехт — известное дело:

Сражайся и побеждай!

«Раз я продал душу и тело,

Ты, война, мне денег подай!»

Но войны не видать, и все тут!

«Как прожить без войны? Как быть?»

Он одну лишь и знал работу —

Стрелять, колоть и рубить!

Может, в Генте война? Может, в Брюгге?

Он — ать‑два! — обошел всю страну,

И на севере и на юге

Все искал и искал войну.

И, голодный, в злую минуту

Он роптал: «Всемогущий бог,

Что мне мир! Все одеты, обуты,

Только я один без сапог!»

А потом наступила осень,

А зимой полетел белый пух,

В бороде проступила проседь,

Он поблек, полинял, пожух.

И пришла война через годы,

И король своё войско скликал,

Но ландскнехту сказали: «Негоден!»

Он — ать‑два! — еле ноги таскал.

«Мне довольствия и продовольствия

Больше войны не принесут.

Что ж от жизни ждать удовольствия?»

Он сказал… и пропал в лесу.

Прадедушка снял очки, а я сказал:

— Бедный ландскнехт!

— Глупый ландскнехт! — возразил мой прадедушка. — Надо уж быть совсем дураком, чтобы в мирное время надеяться на войну, потому что хочешь остаться солдатом. Мечтать о сражениях — это еще не героизм.

Мы так увлеклись, что даже не услышали шагов на лестнице. И теперь вдруг увидели дядю Гарри — он стоял на пороге, озадаченный, с недоумением уставившись на обои, разложенные на столе.

— Что же это вы здесь делаете? — спросил он.

— Сочиняем, — ответил я истинную правду.

— А что, трудно это, Малый? Я хочу сказать — быстро это делается или все же требует порядочно времени?

— Смотря по настроению, Гарри, — объяснил ему прадедушка. — Вот сейчас мы, например, в настроении. В комнате тут тепло, а на улице мороз. Трубка дымит. Вполне можно сочинять. Не хочешь ли поглядеть, как мы это делаем?

— Нет, нет, — чуть ли не с испугом отказался дядя Гарри, — мне велели только собрать посуду и сказать, чтобы вы не засиживались слишком поздно. И потом, нам ведь завтра рано вставать. Катер опять отправляется в Гамбург.

— А все‑таки мне хотелось бы что‑нибудь сочинить для тебя, Гарри. Садись‑ка вот сюда на диван. Подушек здесь хватает, садись, садись!

Наконец дядя Гарри уступил настойчивым приглашениям прадедушки и бухнулся на гору подушек.

— Так, — удовлетворенно сказал прадедушка, — теперь мы с Малым напишем по одному маленькому стихотворению. Для моряка надо, конечно, сочинить что‑нибудь про море.

— Только с настоящими или ложными героями, — добавил я. — Уж такая у нас сегодня тема.

— Баллада — это слишком длинно для дяди Гарри, — возразил прадедушка. — А вот что! Напишем‑ка просто про глупость и про мудрость. Ведь иногда так называемые геройские дела на поверку оказываются просто глупостью. Ну, скажем, рыбка плавает под носом у чайки. Она не умнее кошки, прыгающей в воду.

— Вот у нас уже два стихотворения! — обрадовался я. — Одно про чайку, а другое про кошку. Чур, я пишу про кошку!

— Ничего, быстро Малый соображает, а, Гарри? — рассмеялся прадедушка.

Дядя Гарри кивнул молча и немного растерянно, а мы, поэты, тем временем, навострив карандаши, уже углубились в сочинение.

Сперва нам было как‑то не по себе из‑за дяди Гарри, сидевшего на диване и проявлявшего некоторое нетерпение. Но как только первые строчки были написаны, стихи полились сами собой, и когда нетерпеливый дядя напомнил нам, что Верховная бабушка ждет посуду, прадедушка уже закончил свое стихотворение. А тут же вслед за ним и я.

Мы сразу же прочли их дяде Гарри. Первым — прадедушка. Он, как всегда, повертел в руках очки и начал:

###### Песня о чайках

Видят дети — чайка мчится.

Машут дети белой птице.

А рыбешки — кто куда!

Лишь бурлит‑кипит вода.

Чайки, чайки, вы какие —

Добрые вы или злые?

Нам вы, чайки, никогда

Не приносите вреда.

«Чайки, чайки прилетели!»

Но макрели и форели

Избегают с вами встреч,

Чтобы жизнь свою сберечь!

Дядя Гарри, слушавший с чуть приоткрытым ртом, заметил:

— Макрели правы! Очень хорошее стихотворение. И со смыслом.

— Спасибо за венок, Гарри! — рассмеялся прадедушка. — Послушаем‑ка, что настрочил Малый.

И тогда я прочел мое стихотворение:

###### Песня о коте и сардине

Коту сказала как‑то раз сардина,

Когда тот кот стоял на берегу:

«Подумаешь, мурлыкать у камина,

Гонять мышей небось и я могу!

Послушай, кот, давай с тобой меняться!

Ты в нашей стайке плавай и резвись,

А мне наверх хотелось бы подняться,

Жить по команде «кис‑кис‑кис!» и «брысь!»,

Но кот сардину смерил строгим взглядом

И не прореагировал никак:

Он молча повернулся к рыбке задом

И прочь пошел. Тот кот был не дурак!

Дядя Гарри встал и, покачав головой, сказал:

— Какие все умности! Просто невероятно! Да еще при таком темпе! Ну ладно, надо мне все‑таки отнести вниз посуду. Спокойной ночи!

Он составил посуду на поднос и с карманным фонариком в одной руке, а подносом в другой вышел из чулана. В дверях он остановился и, подмигнув, прошептал:

— Про обои я ни гугу!

За окном совсем стемнело. Свет фонаря падал на соседнюю крышу, выхватывая из темноты несколько черепиц.

— По‑моему, надо нам последовать совету Верховной бабушки и отправиться спать, Малый, — сказал прадедушка. — Для первого дня мы внесли немалый вклад в героеведение. Мы знаем, что безрассудная смелость — это еще не геройство и что сотня трупов не доказательство героизма. Но зато мы знаем, что требуется большое мужество, а иногда и героизм, чтобы одержать победу над самим собой. Посмотрим, что нам удастся выяснить завтра. А теперь пора на боковую.

По правде говоря, мне еще совсем не хотелось спать; но я заметил, что Старого утомило стихотворство. Поэтому я позвал дядю Яспера, и он помог прадедушке спуститься на второй этаж. Вскоре я уже лежал в постели и читал в «Морских календарях» разные баллады, чтобы прийти в балладное настроение и понять, как они пишутся. Когда дядя Гарри, спавший со мной в одной комнате, заснул, я даже сочинил одну балладу и нацарапал ее мелким‑мелким почерком на задней обложке «Морского календаря». И, довольный, спокойно уснул.

## *Вторник,*

*в который мы с прадедушкой переселяемся в южную каморку чердака. Речь здесь пойдёт о гражданском мужестве и о хитрости, а одна и та же история будет, не без причины, рассказана дважды; именно здесь становится ясным, что опасности надо глядеть в глаза, а также происходит знакомство с первым истинным героем. Две бабушки, которых я нечаянно подслушал, читают здесь вслух, с выражением, одну знаменитую балладу, и все заканчивается немного грустно. Итак,*

###### ВТОРНИК

На следующий день мороз усилился. Окно засверкало ледяными цветами. Я умылся в холодной спальне, вернее, слегка поводил по лицу мокрыми пальцами. Катер на Гамбург отходил рано утром, и наши моряки ушли из дому еще до того, как я встал. Наверно, Верховная бабушка опять дала им с собой столько провизии, что ее хватило бы до Южной Африки. Она всегда утверждала, что кто хочет быть здоровым, должен много есть (сама она ела очень мало). Вот и завтрак, который она подала в это утро нам, больным поэтам, был так обилен, что мы еле справились с половиной (а ведь тогда, в четырнадцать лет, я мог без труда умять зараз штук шесть жареных камбал да еще целую гору картофельного салата).

И вот, отдохнув за ночь от трудов и наевшись до отвала, мы снова отправились на чердак. Сегодня Верховная бабушка протопила, экономии ради, только прадедушкину каморку, из окна которой было видно море. Здесь стояла оттоманка — не то удлиненное кресло, не то укороченный диван, — на ней можно было примоститься полусидя, полулежа. Этой штукой я тут же завладел — она была точно создана для моей больной ноги. Прадедушка расположился по другую сторону стола в кресле на колесах. От печки тянуло приятным теплом. Как‑то само собой возникало балладное настроение.

Я перевернул «Морской календарь», на котором записал вчера стихотворение, задней обложкой вверх и сказал прадедушке:

— Погляди‑ка, что я придумал ночью!

Прадедушка, поднося огонь к трубке, ответил:

— Небось думаешь, ты один не спишь по ночам, Малый? Погоди‑ка минутку! — Раскурив трубку, он неторопливо достал из заднего кармана пустой бумажный кулек, исписанный с двух сторон. — И я не с пустыми руками. Сочинители стихов, видно, вроде светляков. Давай‑ка поглядим, не померкнут ли наши рифмы при свете дня! Ну как, начнем с тебя?

— Хорошо, — ответил я и прочел ему свою балладу с обложки «Морского календаря»:

###### Баллада про Генри и про его двадцать тёток

Бедный Генри, бедный Генри,

Двадцать тёток у него.

Согласитесь, многовато

Для ребенка одного.

«Генри!» — с двадцати сторон

Раз по двадцать слышит он.

Вот шагает Генри в школу.

Двадцать теток — как конвой.

Забивает гол в футболе —

В двадцать глоток визг и вой.

Мяч ударит головой —

Двадцать теток крикнут: «Ой!»

Тётки были так богаты!

Целых двадцать у него

Паровозов. Многовато

Для ребёнка одного.

Согласитесь, ни к чему

Целых двадцать одному!

И покинул двадцать тёток

Бедный Генри в двадцать лет.

И кричали в двадцать глоток

Двадцать теток: «Генри нет!»

Слёзы их текли журча

В двадцать раз по три ручья.

«Как же нам теперь не плакать? —

Все вздыхали сообща. —

Он ушел в такую слякоть

Без галош и без плаща.

Завтра он придет домой,

Гриппом вирусным больной!»

Но, чихая, по дорогам

Брел наш Генри без гроша,

Восклицая: «Слава богу!

Ах, поет моя душа!

Как я счастлив, что… апчих!..

Я избави… я избави…

Я избавился от них!»

Только я кончил читать, как послышалось — да нет, нам это не показалось! — какое‑то покашливание. И тут же дверь отворилась и вошла Верховная бабушка.

— Я не хотела мешать, вы читали стихи, — сказала она, — пришлось мне выслушать это дерзкое стихотворение за дверью. Если это камешек в мой огород и, по‑вашему, хорошо смеяться над тем, что я стираю, штопаю, убираю, готовлю, стелю вам постели и…

— Маргарита, — с упрёком перебил ее прадедушка, — ну как можно сравнивать твою заботу о нас со слепой любовью этих двадцати теток! Тетки висели гирей на ногах у Генри. А ты хлопочешь день‑деньской, чтобы у нас, так сказать, вырастали крылья.

— Крылья… — буркнула Верховная бабушка. — Смех, да и только!

Насыпая уголь в печку, она спросила через плечо:

— А в чем, интересно, смысл этого стихотворения?

— Мы беседуем про героев, Маргарита.

— Ах вот как! Про героев? И небось считаете этого Генри героем? А у него просто ветер в голове!

— Избалованный Генри навсегда отказался от богатой и легкой жизни, — заметил прадедушка. — Что ожидает его впереди? Скорее всего, голод и нищета — во всяком случае, на первых порах. Такая решимость, Маргарита, кое о чем говорит. Сжечь свои корабли, пойти непроторенным путем — поступок, достойный героя.

— У меня иные представления о героизме, — сказала Верховная бабушка, хлопнув дверцей печки. — Семья — это семья! Из семьи не убегают!

С этими словами она нас покинула.

— Женщины всегда стоят обеими ногами на земле, когда мы витаем в облаках… — со вздохом сказал мой прадедушка. — И все же хорошо, что они есть на свете.

— Уж хотя бы из‑за жареной камбалы, — поддержал его я (я ее так любил, а Верховная бабушка ее так вкусно готовила). — Теперь твоя очередь, прадедушка, ты ведь хотел прочесть стихотворение — то, что на кульке.

— Успеется! — отмахнулся прадедушка. — У меня вот все вертится в голове одна история. Я вспомнил ее, когда ты читал балладу про Генри. Рассказал мне ее один знакомый капитан. По‑моему, она нам подходит. Даже наверняка. Только герой этой истории не герой.

— Что‑что?

— Я говорю, Малый, что герой, о котором пойдет речь, не герой этой истории.

— Все равно я ничего не понял, прадедушка.

— Ладно, потом объясню. А сперва расскажу.

Прадедушка пыхнул трубкой, набрал полный рот дыма и начал свой рассказ, выпуская дым тоненькой струйкой.

###### РАССКАЗ ПРО МЕДВЕДЯ НА ПИНГВИНЬЕМ ПИРУ

Белый медведь, по имени Балдун, сидел на льдине рядом с тюленем Рикардо и рычал:

— На Южном полюсе так р‑редко бывают пр‑раздники! Хор‑рошо, хоть пингвины р‑решили устр‑роить пир‑р!

— На пир без фраков не пускают! — пролаял тюлень. — У тебя есть фрак?

— Нет у меня фр‑рака! — заревел белый медведь.

— Вот тебя и не пустят!

Но Балдун не сдался. Он потопал к своему двоюродному брату Роберту, который держал дамский салон и завивал белых медведиц. Роберт всегда все знал.

— Добудь мне фр‑рак! — прорычал Балдун. — На пингвиний пир‑р без фр‑раков не пускают!

— Увы, мой дорогой кузен! — ответил Роберт (как и все дамские парикмахеры, он выражался изящно). — Фрак для медведя? К сожалению, это исключено!

И пришлось Балдуну топать к Моржихе — даме, широкоизвестной в узких кругах Южного полюса.

— Нужен фр‑рак! Посодействуй! — попросил он ее. — На пингвиний пир‑р без фр‑раков не пускают!

— Эх ты, Балдунчик, Балдунчик! — протявкала Моржиха, ласково пошлепав медведя своим ластом. — Ну как ты себе это представляешь — медведь во фраке!..

— Кто хочет, тот добьется! — прорычал медведь. — А я хочу попасть на пингвиний пир‑р. На Южном полюсе так р‑редко бывают пр‑раздники!

— Послушай, фрак наверняка есть у лосося господина Людвига. Он на днях приплыл с визитом в наши воды. Не знаю, как насчет фрака, а уж дельный совет он тебе даст непременно. Это такая рыбья голова!

И Балдун потопал дальше — искать лосося господина Людвига. Он перепрыгивал с льдины на льдину и все совал морду в воду, высматривая, нет ли где в глубине океана господина Людвига. Но сколько ни искал, нигде его так и не нашёл.

Лишь на следующий день Балдун разнюхал в салоне для белых медведиц, где сейчас плавает лосось. (В дамской парикмахерской можно узнать про всё на свете.)

Однако объясниться с господином Людвигом оказалось для Балдуна делом нелегким. Лосось с трудом понимал язык Южного полюса. И всё же он дал Балдуну дельный совет:

— У вас тут на Южный полюс проводит свой… э… каникулы Большой Каракатица. Он располагает… э… значительным запасом чернил. Он мог бы покрасить ваш… э… белый мех в чёрный фрак.

— Гр‑рандиозно! — взревел от восторга белый медведь. — Где она, эта Кар‑ракатица?

— Он обычно спит… э… подводный отель «Тихая гавань». Это надо плыть на юг… э… за третий Тюлений остров.

Балдун плюхнулся в воду и поплыл на юг, за третий Тюлений остров. Нырнув вниз головой, он и вправду увидел большую Каракатицу, спавшую в подводной пещере. Балдун растолкал ее и поманил лапой, приглашая всплыть на поверхность для важного разговора.

Сгорая от любопытства, Каракатица забурлила всеми своими десятью ногами и вмиг поднялась наверх.

— Эй ты, медведь! — высунув голову возле льдины, крикнула она Балдуну, сидевшему на корточках над водой. — Давай! Какой там у тебя важный лазговол?

— Пингвины устр‑раивают пир‑р! — заревел Балдун. — А без фр‑раков никого не пускают! А у меня нет фр‑рака! А на Южном полюсе так р‑редко бывают пр‑раздники!

— А я пли чём? — удивилась Каракатица (каракатицы не выговаривают букву «р»). — Нет у меня никаких флаков!

— Так покр‑рась меня своими чер‑рнилами! Нар‑рисуй на мне фр‑рак, Кар‑ракатица!

— Дело нелегкое! — вздохнула Каракатица. — Вплочем, эта затея мне по нутлу. А ну‑ка, ложись плямо на льдину. Спелва я выклашу тебе один бок, потом спину, а потом уж длугой!

И Каракатица принялась красить медведя. Она очень старалась и извела на него почти весь запас чернил из своего чернильного мешка. Наконец Балдун был выкрашен — издали и впрямь могло показаться, будто он надел фрак.

— Гр‑рандиозно, дор‑рогая Кар‑ракатица! — взревел от восторга Балдун. — Уж теперь‑то я отпр‑равлюсь на пир‑р!

— Только не плыгай в воду, а то полиняешь, — предупредила Каракатица, — мои челнила не водостойкие!

— Хор‑рошо! — радостно рявкнул медведь и, осторожно перешагивая с льдины на льдину, направился в парикмахерскую к кузену Роберту, чтобы тот научил его, как вести себя на пингвиньем пиру.

А вечером состоялся пир. Пингвины нарочно велели всем явиться во фраках — чтобы в их общество не затесались всякие там медведи да тюлени.

Пингвины и пингвинихи, стоя небольшими группками, болтали на разные темы и поклевывали рыбный салат из небольших ледяных вазочек, расставленных прямо на льдине, но обдуманно и со вкусом. И вдруг, ко всеобщему изумлению, среди них появился белый медведь в безукоризненно сидящем фраке.

Отказать ему было невозможно, поскольку он был одет согласно предписанию, но водиться с ним никому не хотелось — ведь медведь и во фраке медведь. Оставалось одно — не замечать его.

Когда Балдун подходил к какой‑нибудь группке пингвинов и произносил, как велел ему Роберт: «Добр‑рый вечер‑р, милые пингвинихи! Добр‑рый вечер‑р, уважаемые пингвины!» — группка немедленно рассеивалась и все пингвины тут же присоединялись к другим кружкам.

Так Балдун оказался в полном одиночестве. Огромный, угрюмый, стоял он посреди пингвиньего острова, а пингвины и пингвинихи вокруг него все тараторили, тараторили, тараторили…

И тут Балдун рассвирепел.

— Хор‑роши пор‑рядки! — рявкнул он на первого попавшегося пингвина. — Как тут обр‑ращаются с гостями?! Не отвечают на пр‑риветствия! А еще во фр‑раках!

— Лично я не имел чести быть удостоенным вашего приветствия, — ответил пингвин. — Но готов поздороваться с вами первым. Добрый вечер!

— Добр‑рый вечер‑р! — буркнул опешивший медведь.

Пингвин учтиво поклонился и тут же примкнул к небольшому кружку пингвинов, о чем‑то оживленно беседовавших.

А Балдун, потеряв всякую надежду повеселиться на пингвиньем пиру, побрел прочь, бухнулся в воду — вода в то же мгновение стала черной, как чернила, — и поплыл, одинокий, без фрака, медведь медведем, к своей родной льдине.

Когда Моржиха на следующее утро спросила его, как он провёл время на пингвиньем пиру, он только пробурчал:

— Медведь — не пингвин!..

— А ты как думал? — ухмыльнулась Моржиха. — Ведь медведь и во фраке медведь.

Затем она поплыла в дамскую парикмахерскую, чтобы посплетничать всласть, как белый медведь вздумал повеселиться на пингвиньем пиру.

А Балдун пошёл ловить рыбу.

Прадедушка поднес огонь к потухшей трубке, потом сказал:

— Капитан, рассказавший мне эту историю, сам видел с корабля эту льдину, а на ней пингвинов и медведя. Ну, теперь понял, Малый, почему герой этой истории — не герой?

— Герой этой истории просто медведь, прадедушка. И нельзя сказать, чтобы он держался героем. Хоть он и упорно добивается своей цели.

— В том‑то и дело, Малый. Не медведь тут держался героем, а кое‑кто еще. А кто — ты узнаешь, если я расскажу тебе эту историю сначала.

— Еще раз ту же самую историю, прадедушка?

— Ну да, Малый, только совсем по‑другому. Вот слушай!

Он сделал одну затяжку из трубки и начал свой рассказ.

###### РАССКАЗ ПРО ПИНГВИНА И МЕДВЕДЯ

Пингвин Педро, как всегда в безукоризненно сидящем фраке, стоял на льдине рядом с пингвинихой Эсмеральдой.

— Приемы стали таким редким событием у нас на Южном полюсе, — заметил он как бы между прочим. — То ли дело раньше! Да, светская жизнь…

— Уж кому‑кому, а мне‑то вы можете этого не объяснять, дон Педро, — жеманно ответила Эсмеральда. — Уж кому‑кому, а мне понятно, в чем тут тайна.

— А нельзя ли узнать, в чём тут тайна, донья Эсмеральда?

(Пингвины любят тайны Мадридского двора и церемонно называют друг друга на испанский манер.)

— Когда мы, пингвины, устраиваем прием, дорогой дон Педро, на него заявляется всякий сброд. Ведь мы, пингвины, так вежливы! Никогда нельзя знать, не пожалует ли к нам на льдину морж, тюлень, чайка или даже белый медведь. Вот во что превращаются наши приёмы! Скоро нашей колонии, видно, придется совсем отказаться от праздников. (Под колонией донья Эсмеральда подразумевала всё ту же льдину, считая, что она‑то и есть центр вселенной.)

— Неужели нельзя устроить прием для одних пингвинов? — возмутился дон Педро.

— Это было бы крайне невежливо и бесцеремонно, дорогой дон Педро.

— Тогда надо объявить, что все должны явиться на приём во фраках. Вот и все, дорогая донья. И вежливость соблюдена, и никто, кроме нас, пингвинов, не посмеет прийти. Ведь одни только мы и носим фраки.

Эсмеральда взглянула на Педро, восхищенно приоткрыв клюв, и прошептала:

— Гениальная мысль. «Всем явиться во фраках». Воистину гениальная мысль, дорогой дон Педро! Сейчас же побегу и поставлю в известность всех наших пингвинов и пингвиних!

Вперевалку заковыляла она, то и дело вспархивая, или, если хотите, запорхала, приковыливая вперевалку, навстречу своим знакомым дамам‑пингвинихам, радостно крича на ходу:

— Мы устраиваем прием! Всем явиться во фраках. Ну, что вы на это скажете?

Потом она подпорхнула к знакомым господам пингвинам и заявила им, многозначительно подмигивая:

— На следующий прием всем явиться во фраках! Ну, разве не гениально?

Дон Педро и оглянуться не успел, как вся колония была уже в восхищении от его гениального плана. И план этот был тут же воплощен в жизнь. Все жители Южного полюса получили приглашение на приём. В пригласительных билетах любезно указывалось, что явка во фраках обязательна.

Таким образом, всем обитателям Южного полюса, кроме пингвинов, было очень вежливо отказано в приеме.

Праздник, к которому долго и тщательно готовились, уже с самого начала обещал быть успешным. Дон Педро, подавший столь счастливую идею, оказался героем дня.

Но вдруг на льдине, ко всеобщему ужасу, появился белый медведь Балдун. И, как это ни невероятно, во фраке.

— Неслыханно! — шипели пингвинихи.

— Невиданно! — шипели пингвины.

Только один дон Педро сохранял присутствие духа.

— Разбиться на группки! — приказал он. — Усиленно беседовать друг с другом! Медведя не замечать! Передайте дальше!

Его распоряжение было выполнено: стоило где‑нибудь появиться медведю, как пингвины, разделившись на маленькие группки, тут же начинали тараторить еще громче, не обращая на него никакого внимания. О том, как у многих из них при этом колотилось сердце под фраком, медведь и не догадывался.

И вдруг Балдун, заглушая их болтовню, взревел:

— Хор‑роши пор‑рядки!

Онемев от страха, пингвины искоса поглядывали на это чудовище, рычащее на дона Педро.

— Как тут обр‑ращаются с гостями?! Не отвечают на пр‑риветствия! А еще во фр‑раках!

У пингвинов в зобу дыхание сперло.

Только один дон Педро сохранял присутствие духа.

— Лично я не имел чести быть удостоенным вашего приветствия, — вежливо ответил он. — Но готов поздороваться с вами первым. Добрый вечер!

Опешивший медведь растерянно буркнул «Добрый вечер!», а дон Педро, учтиво поклонившись, примкнул к небольшому кружку пингвинов и зашептал:

— Продолжайте! Продолжайте!

И тут вдруг пингвины, ободренные твердостью дона Педро, почувствовали себя хозяевами льдины. Заметив, что медведь растерялся, они тараторили вовсю, не закрывая клювов, то и дело покатываясь со смеху, и даже не удивились, когда увидели, что Балдун, озверев, подошел к краю льдины и бухнулся в воду.

— О, дон Педро был на высоте! — восклицали восхищённые пингвинихи.

А пингвины с этого дня стали величать дона Педро «кабальеро», что в пингвиньих кругах считается особо почетным званием.

Но прославленный пингвин небрежным взмахом крыла отклонял все почести.

— С такими типами надо уметь обращаться, — замечал он с тонкой усмешкой. — В трудном положении главное — не растеряться!

Прадедушкина трубка еще дымилась, когда он закончил свой рассказ.

— Ну, теперь понятно, кто был героем на пингвиньем пиру? — спросил он.

— Да уж, конечно, дон Педро, прадедушка. Как станешь на точку зрения пингвинов, это ясно как день. Только мне почему‑то не особенно нравится такое геройство.

— А ты представь себе на минутку маленького дона Педро рядом с огромным медведем! И все‑таки, Малый, мне тоже не так уж нравится его героизм. Потому что дон Педро — это герой своей льдины! Он делит весь мир на тех, кто во фраках, и на прочих. А потом ошарашивает этих прочих своим культурным обхождением. И те, кто во фраках, провозглашают его героем. Не слишком ли много высокомерия и предрассудков в таком героизме? Чтобы воспротивиться предрассудкам, по‑моему, требуется еще больше мужества. А ну‑ка подбрось угля в печку, Малый!

Я соскользнул с оттоманки на пол, прохромал к печке и стал насыпать в нее уголь. И всё не переставал удивляться, как это Старому удалось рассказать дважды одну и ту же историю так весело и забавно. Прямо фокус какой‑то! Мне захотелось тоже чем‑нибудь его удивить. Поэтому я как можно дольше возился с печкой, а сам тем временем все придумывал одно стихотворение, подходящее к случаю. А потом прочёл его прадедушке:

Тот, кто себя и всех своих

Считает лучше всех других,

А всех других и все другое

Вообще считает за дурное,

Находит скучным и безвкусным,

Нелепым, глупым, мелким, гнусным,

Пусть сам избавится от шор

И свой расширит кругозор!

— Браво, Малый, — рассмеялся прадедушка, — ты чем старше становишься, тем умнее! Случай редкий, но отрадный.

— Спасибо за венок! — ответил я. — А теперь ты прочтёшь мне свою балладу, прадедушка?

— Баллада — это, пожалуй, преувеличение, — с некоторым сомнением заметил Старый. — Назовем‑ка ее лучше балладкой.

Он вынул из заднего кармана пустой бумажный кулек, исписанный с двух сторон, и, когда я снова улегся на оттоманку, начал читать:

###### Балладка о мышах

«Мышки, мышки, мышки, мышки, —

Так стучат часы в углу, —

Муррдибурр‑котище рыщет

Перед норкой на полу!»

Из‑за черствой черной корки

Тут мышонок Удалец

Носик высунул из норки.

Все! Теперь ему конец.

Кошке, кошке, кошке

Попадаться на обед

Из‑за черствой черной крошки,

Нет, геройства в этом нет!

Прадедушка спрятал в карман исписанный кулек, а я сказал:

— Славная балладка, прадедушка! Только ведь в ней говорится о том, в чем нет геройства.

— Потому‑то, Малый, из нее и становится ясным, в чем геройство. Герой, например, должен уметь взвесить опасность, которой он себя подвергает. Слепо бросаться в опасность, как этот мышонок Удалец, — еще не геройство. Вот мне как раз вспомнилась одна история — про короля и блоху. Я хотел бы ее…

Но тут его перебила Верховная бабушка, крикнувшая нам с первого этажа:

— К вам гости! А через полчаса — обед!

— Ну, значит, я расскажу тебе эту историю после обеда, — вздохнул прадедушка. — Интересно, кто же это к нам пришел?

В дверь уже стучали, и вошла, запыхавшись от крутой лестницы, Низинная бабушка — в меховой шапке, с меховой муфтой, в ботинках, отороченных мехом.

— Привет, Малыши! Ну и жара тут у вас! — воскликнула она, еле переводя дыхание. Потом положила все свои меха на комод (конечно, кроме ботинок) и, опустившись в кресло, сказала: — Я как раз была тут неподалеку, у вас на горе! Пой Пфлауме продает по дешевке шерстяные носки. Вот и думаю, дай‑ка загляну к хромым поэтам!

— Мы очень польщены оказанной нам честью, Анна! — с легким поклоном заявил прадедушка.

— Мы приветствуем нашу старую Музу! — добавил я.

— Я вижу, вы надо мной потешаетесь! — Низинная бабушка смешно надула губы и стала опять такой, какой мы с прадедушкой больше всего ее любим. — Со мной вы всегда только шутки шутите, а вот Верховной бабушке вы читаете стихи!

— Заблуждаешься, Анна! Мы не читали ей стихотворения про Генри и его двадцать теток! Она подслушивала под дверью.

— Подслушивала? Как нехорошо! — Низинная бабушка, казалось, была очень возмущена.

Но мы‑то хорошо знали, что она и сама иной раз не прочь подслушать под дверью.

Теперь она оглядывалась по сторонам, словно ища что‑то, а потом спросила:

— Ну и где же оно, это стихотворение? Вы мне его прочтете?

Я хотел было ответить: «Ну, конечно!» — но тут вспомнил, что стихотворение записано на обложке «Морского календаря» и ей никак нельзя его показывать — ведь она немедленно сообщит об этом Верховной бабушке.

Прадедушка, видно, размышлял о том же. Он поспешно сказал:

— Стихотворение про Генри как‑то больше подходит для Верховной бабушки, Анна. Ты как‑то тоньше! (Низинная бабушка, надо сказать, весила не меньше двух центнеров.) Тебе надо прочитать какие‑нибудь более тонкие стихи. Вот, например, про мышку — как она высказала своё мнение прямо в лицо коту.

— А ведь и я этого не слыхал! — удивился я.

— Ну да, Малый. Вот я и прочту вам обоим. Ну, слушайте! — Старый закрыл глаза, с минутку подумал и стал читать наизусть:

###### Баллада о мышке, прогнавшей кота

Вот мышка на съеденье

Назначена котом.

Застыла без движенья,

Не шевельнёт хвостом.

А кот мяукнул: «Крошка,

Не хочешь ли сплясать,

Встряхнуться хоть немножко

Да лапки поразмять?»

Тут мышка осмелела

И, сделав шаг вперед,

От гнева покраснела

Да вдруг как заорет:

«Плясать?.. Перед котами?

Как вы могли посметь?!

Пусть дрыгают хвостами

Трусихи! Лучше смерть!»

И так она кричала,

Что бедному коту

От этих воплей стало

Совсем невмоготу.

И он, заткнувши уши,

Пустился наутек.

А всем, кто это слушал,

И всем мышам — урок!

— Ай да Малыш! — с восторгом воскликнула Низинная бабушка (так она величала прадедушку) и захлопала в ладоши. — У вас еще много таких в запасе?

— Хорошенького понемножку, Анна, — сказал прадедушка. — Это относится и к конфетам и к стихам. Но, может быть, Малый (тут прадедушка кивнул на меня) прочтет тебе стишок про медведя и белку. Я написал его несколько лет назад. Ты его еще помнишь, Малый?

Я подумал, наспех повторил про себя начало и сказал, что да, помню, могу прочесть. И правда прочел:

###### Медведь и белка

Медведь, сильнейший зверь лесной,

Топтыгин‑Косолапый,

На лапку белочке одной

Ступил тяжелой лапой.

И, не сказавши: «Ой, прости!» —

Потопал обалдело

В лес, без дороги, без пути

(Медведи — знамо дело!).

Но закричала белка вслед:

«Эй ты, пузатый дядя!

В лесу таких порядков нет,

Чтоб всех давить не глядя!»

Медведь услышал чей‑то писк

И зашагал потише:

«Мне предъявляет кто‑то иск?

Чего, чего? Не слышу!»

Но белка прыг, но белка скок —

И с ветки вниз как птица:

«Вы отдавили мне носок,

Извольте извиниться!»

Да как подскочит на сучок

И сжала кулачишки.

Вот‑вот даст по носу щелчок

Опешившему мишке!

И, изо всех медвежьих сил

Взревев от изумленья,

Медведь и вправду попросил

У белки извиненья.

«Ну, так и быть! — она в ответ. —

Но помни, Косолапый,

В лесу таких законов нет,

Чтоб наступать на лапы!»

Медведь сказал: «Учту я впредь!»

(Что белке было лестно.)

Кто смел, с тем вежлив и медведь,

Да будет вам известно.

Низинная бабушка сперва помолчала, потом тихонько спросила:

— Ведь вы настоящие великие поэты? Да, Малыши?

— Как бы тебе объяснить, Анна, — отвечал ей прадедушка. — То, что мы хотим сказать, мы можем выразить в стихах. И сделаем это, разумеется, получше, чем Паульхен Пинк, сочиняющий поздравления к свадьбам. Но опять же, разумеется, мы не такие уж великие поэты, как, скажем, Гёльдерлин[[8]](#footnote-8), о котором ты, впрочем, ничего не слыхала.

— Это не тот ли господин Гёльдерлин, что часто приезжает к нам на остров туристом, а, Малыши? Такой длинный, черный? Еще в теннис всегда играет!

— Да нет, Анна, — рассмеялся прадедушка. — Поэт Гёльдерлин давным‑давно умер. И великим поэтам приходится умирать.

Низинная бабушка тяжело вздохнула (впрочем, она частенько вздыхала), но тут Верховная бабушка крикнула нам снизу, что пора обедать.

Пропустив Низинную бабушку вперёд, мы, нагруженные ее мехами, заковыляли вслед за ней вниз по лестнице на первый этаж. По дороге прадедушка негромко спросил меня:

— Ты понимаешь, какого рода героизм описан в обоих этих стихотворениях, а, Малый?

— Кажется, это называется «не склонять головы перед сильными мира сего», да, прадедушка?

— Да, Малый. Это и так называют. Но есть и название покороче: гражданское мужество. Иногда оно требуется даже в разговорах с твоей Верховной бабушкой.

Не успел он прошептать эти слова, как Верховная бабушка уже указала нам наши места за столом. Мы ели солянку из вяленой рыбы, картошки, лука и соленых огурцов. Это блюдо всегда готовили у нас в те дни, когда наш катер отходил в Гамбург.

После обеда прадедушка прилег на часок отдохнуть, а я снова взобрался на чердак, решив, что и мне бы неплохо сочинить стихотворение про гражданское мужество. Получалось довольно сносно (солянка — пища не слишком тяжелая), и я записывал строчку за строчкой, как всегда, на обоях.

Прадедушка поднялся на чердак уже под вечер.

— Обои повысились в цене, — сообщил я ему. — Тут на оборотной стороне появилась новая баллада — про короля и пастуха. Хочешь послушать?

— Нет, Малый, сперва уж ты послушай сказочку про короля и блоху, которую я пришел тебе рассказать.

И, даже не раскурив трубки, он без всякого вступления начал рассказывать, откинувшись на спинку своей каталки:

###### СКАЗКА ПРО КОРОЛЯ И БЛОХУ

Жил когда‑то на свете один король, и не было для него ничего ненавистнее клопов и блох. Но в те далекие времена не продавали еще ни порошков, ни жидкости от насекомых и даже самих королей кусали клопы и блохи. Только одного этого короля они почти никогда не кусали. Потому что каждый вечер перед сном он залезал в ванну прямо в мантии и короне. Если какая‑нибудь блоха или какой‑нибудь клоп заблудились днем в королевских одеждах, то они вмиг выпрыгивали на поверхность воды, и тут‑то их и ловил с необычайной ловкостью придворный клопомор. После этого Его Величество мог спокойно идти спать, не боясь ни клопиных, ни блошиных укусов.

Молва о короле, которого еще почти ни разу не укусило ни одно насекомое, распространилась среди людей и среди насекомых.

И тогда‑то одна блоха приняла твёрдое решение искусать этого короля. Решение, можно сказать, героическое, если учесть ловкость придворного клопомора. Ведь для блохи шла речь о жизни и смерти.

И все же блоха приступила к делу, а вернее сказать, прискакала и села. Прямо королю на голову. А волосы у короля были густые‑прегустые.

Целый день сидела блоха у короля на голове без всякого движения. Один раз ее даже чуть было не придавило тяжелой короной, но в последний момент ей кое‑как удалось перескочить в королевский чуб.

А вечером король, как всегда, залез в ванну в мантии и короне. Вот уж блоха натерпелась страху! «А вдруг, — думала она, вся дрожа, — король окунется с головой?!» Но, к счастью, этого не случилось, и блоха, как говорится, вышла сухой из воды.

Не успело Его Величество отпустить придворного клопомора и произнести вечернюю молитву, как блоха, проголодавшаяся за день, выпрыгнула из королевского чуба, поскакала вниз по затылку и, забравшись под королевскую ночную рубашку, досыта напилась королевской крови.

Почувствовав укус, король взревел от боли, а придворный клопомор, услыхав его рев, бросился в королевскую спальню и в срочном порядке подверг королевскую ночную рубашку тщательной проверке.

Но все было напрасно. Блоха уже вновь сидела в надежном укрытии и даже успела заснуть. Никому и в голову не приходило искать блоху в чубе Его Величества.

Целую неделю хитроумная блоха оставалась неуловимой для короля, клопомора и всех специалистов по насекомым, которых король созвал на охоту. А на восьмую ночь она до того расхрабрилась, что поскакала не своим обычным путем, по затылку, а прямо по королевскому носу. На этот раз Его Величество самолично заметил блоху — увидел ее собственными глазами на кончике носа — и, схватив себя за нос, собственноручно поймал нарушительницу.

— Ага, попалась, голубушка! — воскликнул король. — Ну теперь тебе несдобровать!

Но тут ему пришло в голову, что блоха как бы в некотором роде уже стала особой королевской крови. А закон, как известно, гласит, что любая особа королевской крови имеет право на жительство и пропитание при дворе.

— Закон есть закон! — вздохнул король.

Он вызвал звонком придворного клопомора и, с гордостью показав ему пойманную блоху, удручённо сказал:

— К сожалению, эта блоха — особа королевской крови. Берегите ее. Пусть придворный кузнец выкует ей малюсенькую золотую корону и золотую клетку. Раз в день я буду собственноручно кормить блоху, сунув в клетку мой королевский палец. Выполняйте, что велено!

Придворный клопомор, которому отныне было торжественно поручено попечение о блохе, поместил ее временно (пока не будет готова золотая корона и золотая клетка) в спичечную коробочку с дырочками для воздуха.

С тех пор коронованная блоха так и живет в королевском дворце, к удивлению и зависти всех насекомых, и проклинает с утра до вечера свой героический подвиг, сделавший ее узницей золотой клетки. Ее демонстрируют всем туристам, а король собственноручно кормит ее раз в день королевской кровью…

Прадедушка снова занялся своей трубкой.

— Я ищу слово, — пробормотал он, — точное слово, которым можно охарактеризовать подвиг этой блохи. Но оно вылетело у меня из головы. От какого‑то старинного названия кавалериста…

— Может быть, ты имеешь в виду «гусарство»? — неуверенно заметил я.

— Да, Малый, — обрадовался Старый, — именно это слово! Ведь то, что сделала эта блоха, как раз и было гусарством. Для него требуются отвага, смелая выдумка, присутствие духа…

— Значит, кто гусарит, тот и герой, прадедушка?

— Гм, Малый… — Трубка снова мирно дымила. Тот, кто ведет себя по‑гусарски, конечно, кое в чем похож на героя. Он не слепо бросается в опасность. Он оценивает ее, прежде чем ринуться очертя голову. Но ведь эта блоха отважилась на гусарскую выходку, Малый, только чтобы себя потешить. А искать опасности ради самой опасности… Никому от этого никакого толку.

— Тогда, может быть, пастух в моей балладе настоящий герой? Хотя и его поступок тоже можно назвать гусарством! — сказал я. — Прочесть?

— Ну‑ка, ну‑ка, прочти!

И я стал читать по обоям:

###### Баллада про короля и пастуха

Раз король жестокий Петер,

Повелитель всей страны,

Молвил грозно: «Все на свете

Поклоняться мне должны!

Потому что я один

Полновластный властелин!»

Но про те слова прослышал

Некий юноша, пастух,

И, хоть был беднее мыши,

Он при всех поклялся вслух:

«Вот, ей‑богу, не шучу,

Короля я проучу!»

Разузнав сперва в лакейской

И на кухне при дворце,

Что король (прием злодейский!)

Носит маску на лице,

Крикнул парень: «Я не я,

Скину маску с короля!»

Изучив искусство лести

(Погоди кричать:«Позор!»),

При дворе он стал известен,

А потом затмил весь двор —

Самый преданный из слуг,

Королю он первый друг.

Говорит он как‑то в шутку:

«Все ты хмуришься, король!

Ну, а хочешь на минутку

Я твою сыграю роль?

Ну‑ка, дай мне свой наряд!

Славный будет маскарад!»

Их Величество застыло:

«И опасно и смешно!»

Все же ради шутки милой

Раздевается оно

И снимает под конец

Даже маску и венец.

Нарядились. Разве скажешь,

Кто король из этих двух?

«Эй, держи‑ка его, стража!» —

Громко крикнул тут пастух.

Этим только прикажи!

«Эй, хватай его, вяжи!»

Злой король сидит в темнице,

А в хоромах пир горой,

Каждый пьет и веселится.

Маску вдруг сорвал герой:

«Не король я, господа,

Им и не был никогда!

Наша доблестная стража

Короля взяла в тюрьму.

Я ж пастух, не рыцарь даже,

Преподал урок ему.

А теперь пора мне в путь

На коровушек взглянуть!»

Но народ освобожденный

Закричал: «Ты наш король!

Эту маску и корону

Вместе с троном взять изволь!

Ты и добр и справедлив —

Будет наш народ счастлив!»

Тут пастух сказал им: «Люди,

Если править во дворце

Паренек крестьянский будет,

То без маски на лице!»

Закричали все: «Виват!» —

И ударили в набат.

Так король жестокий Петер

Потерял и трон и двор.

Королевством правит этим

Наш пастух и до сих пор.

Ты о нем не забывай —

Маски лживые срывай!

Прадедушка только и сказал:

— Черт возьми!

И больше ничего. Но это «черт возьми!» наполнило меня гордостью. Значит, моя баллада ему понравилась. И он нашёл, что пастух — настоящий герой.

— Чтобы срывать маски с великих мира сего, всегда требуется отвага, Малый. А когда человек проявляет еще и находчивость, вот как твой пастух, да при этом рискует жизнью не ради своих интересов, а просто возмутившись несправедливостью, тогда гусарство — уже не гусарство, а благородный поступок. Тогда это героизм.

— А герой, прадедушка, обязательно совершает благородный поступок?

— Чаще всего, Малый.

Старый подкатил к окну и стал глядеть на тёмное море и на цепь фонарей вдоль причала.

— Героические поступки, — сказал он, — как вон те огни там, внизу, — маяки в мире, полном несправедливости и произвола. Их свет вселяет мужество в других.

Я увидел лицо прадедушки на фоне окна, седые волосы, крупный нос, бороду и подумал: «Может, и Гомер, больше двух тысяч лет назад описавший деяния греческих героев, выглядел вот так же…»

— Зажги свет, Малыш.

В маленькой комнате стало светло, оконные стекла превратились в черные зеркала, а Гомер — в моего прадедушку.

— Сегодня мы уже много чего выяснили про героев, — сказал он. — Например, что сжечь свои корабли, пойти непроторённым путем — иной раз поступок героический. Ты показал это на примере Генри и его двадцати тёток. А еще мы выяснили, что гражданское мужество оказывается подчас настоящим геройством. Правда, герои бывают разные: и такие, как твой пастух, и совсем маленькие, как мой пингвин.

— А еще, что не всякое гусарство — геройский подвиг, прадедушка!

— Вот‑вот, Малый! А завтра давай подумаем о том, всегда ли героический подвиг — такое уж убийственно серьёзное дело. Не бывают ли иногда геройские поступки веселыми и смешными? Я, по правде сказать, не прочь подумать об этом уже сейчас. А ты иди‑ка вниз и поиграй с Верховной бабушкой в лото. Она так любит эту игру, а мы с тобой должны хоть в чем‑нибудь ей угодить.

— Да она ведь жулит! — возмутился я. — Она кого хочешь на острове обыграет!

— Тогда и ты не плошай, Малый! Только гляди в оба! Верховная бабушка приходит в бешенство, когда замечает, что другие плутуют.

Хромая и вздыхая, я спустился по лестнице на нижний этаж, чтобы сыграть в лото с Верховной бабушкой.

Но до игры так дело и не дошло. Внизу я услышал голоса, доносившиеся из столовой. Эти хорошо знакомые мне голоса читали по очереди какое‑то стихотворение.

Я тихонько подкрался к двери и стал подслушивать, хотя в передней здорово дуло.

Обе мои бабки декламировали балладу Шиллера «Перчатка» с такой силой и страстью, словно отведали яичного ликера. Когда одна запиналась, тут же подхватывала другая. Под конец Низинная бабушка торжественно возвестила:

Но холодно приняв привет ее очей,

В лицо перчатку ей

Он бросил и сказал: «Не требую награды»[[9]](#footnote-9).

После этого обе они захлопали в ладоши и принялись хвалить друг друга за прекрасную память. А затем, как ни странно, стали беседовать о… героизме.

Так как с меня на сегодня было вполне достаточно рассуждений о героях, я хотел было незаметно удалиться, но тут вдруг они переменили тему.

— Боюсь, наш Старый не долго протянет, — сказала Верховная бабушка, — болезнь серьёзнее, чем он думает. Малый, конечно, не должен об этом знать. Завтра придет врач. Надо, чтобы Малыш ушел из дому. Я скажу ему, что ты пригласила его на пирог, Анна!

— Что ты, Маргарита! — услышал я голос Низинной бабушки. — У него ведь нарыв на пятке!

— Да уж как‑нибудь дохромает, не старик! Ничего с ним не случится!

У меня пропала всякая охота подслушивать их разговор. Я бесшумно поднялся по лестнице на второй этаж и лег в постель.

В этот вечер мне не хотелось ни читать, ни писать и я долго не мог уснуть — все думал и думал о том, что наступит день, когда у меня больше не будет прадедушки.

## *Среда,*

*в которую мы смеемся, потому что нам грустно. Речь здесь пойдет соответственно о веселых героях, а также о том, что человек, который умеет смешить других, сам нередко бывает печальным; кроме того, здесь неопровержимо доказывается, что поросенок с часами на копытце — явление хотя и редкое, но весьма примечательное. Итак,*

###### СРЕДА

В зимнем пальто и ушанке, закутанный в теплый шарф, я отправился на следующее утро к Низинной бабушке в нижнюю часть острова.

Я и виду не подал, что знаю о болезни прадедушки и о том, что должен прийти врач. Я сказал прадедушке как можно веселее:

— Низинная бабушка с некоторых пор тоже, как выяснилось, интересуется героями. Если она будет меня расспрашивать, я расскажу ей что‑нибудь про смешных героев. Она ведь так любит смеяться. А мы с тобой все равно хотели сегодня вспоминать забавные подвиги.

— Верно, Малый, — сказал прадедушка. — Я тоже пока подумаю про смешных героев. Может, и получится какой‑нибудь рассказик. После обеда я тебе его прочту.

— Идет, прадедушка!

Мы расстались смеясь, хотя оба знали, что осмотр врача в это утро — дело очень серьезное.

Однако по пути к Низинной бабушке (пятка моя болела, и я спустился на подъемнике, вместо того чтобы ползти по лестнице), пока я шел навстречу морозному ветру по пустынной каштановой аллее, мне, несмотря на страх за прадедушку, а может быть, как раз из‑за этого страха, приходили в голову только самые смешные вещи.

Войдя в большой желтый дом под высокими каштанами (Уракс, старый‑престарый сенбернар, как всегда, чуть не сбил меня с ног), я сказал Низинной бабушке:

— Я тут, по дороге, начал сочинять один стишок. Можно, я допишу его на чердаке?

— Только, надеюсь, потом ты мне его прочтешь, Малый? И дай слово, что не будешь переутомляться. Для великих мыслей твоя голова еще слишком мала!

— Честное слово, не буду, бабушка! — торжественно пообещал я. — Да у меня и нет никаких великих мыслей. Я просто развлекаюсь.

— Тогда разденься, повесь свои вещи на вешалку и марш на чердак! Уракс, пошел на место!

Старый пес поглядел на меня снизу вверх укоризненным взглядом и ретировался через открытую дверь в Птичью комнату. Там, возле стеклянной витрины с чучелами птиц, всегда лежала зимой его подстилка. Я же взобрался на чердак, с грохотом опрокинув ящик, устроился в чулане среди всякого хлама, вытащил из кармана карандаш и стал записывать стихотворение прямо на побеленной стене — у Низинной бабушки я мог позволить себе и это. Потом я еще придумал один рассказ и записал его на обороте громадного плаката, приглашавшего на парусные гонки тридцать лет тому назад, — теперь он, свернутый в трубку, валялся здесь, на продавленном диване.

Часа в два ко мне на чердак поднялась Низинная бабушка. Уракс все с тем же укоризненным взглядом плелся за ней.

— Что это с Ураксом? — спросил я. — Он все глядит на меня с таким упреком.

— Раньше ты брал его с собой на чердак сочинять, — объяснила Низинная бабушка, — а теперь он, видно, для тебя слишком стар, и это его обижает.

— Да ты что, бабушка! — изумился я. — Ведь ты сама велела ему убираться на место. И вообще я его никогда сюда не брал! Собаки мешают сочинять стихи!

— Так ты, значит, не любишь старых собак? — решила она неизвестно почему и вдруг обиделась.

— Да ты что, бабушка! — изумился я еще больше. — Уракса я люблю так же, как и раньше. И ты ведь знаешь, я часто куда охотнее играю с прадедушкой, чем с моим другом Джонни Флотером. А между прочим, Старому уже восемьдесят девять, а Джонни еще только четырнадцать.

— Верно, Малый, об этом я и не подумала. Ты ведь поэт, а это совсем другое дело. Ну, так что же ты сочинил?

— Стихи про героя, бабушка. Вон там, на стене.

Она с наигранным возмущением всплеснула руками.

— Вы, поэты, с каждым годом все больше с ума сходите! Пишет стихи на штукатурке! Вот до чего дошел! А ну‑ка, прочти! Я забыла очки.

Я опустился на колени рядом с Ураксом и, поглаживая его по лохматой шерсти, чтобы он со мной помирился, стал читать:

###### Баллада о Мартине Бауере

Он звался Мартин Бауер,

И знал о нем любой:

Любитель приключений

И сверхгерой.

Непобедим на ринге

И гонок чемпион,

И с парашютом прыгал

Отважно он.

Он, промаха не зная,

Бил в цель, лихой стрелок,

С любого расстоянья —

В мишень, в висок!

Пилот, сапер, разведчик,

Подлодки командир,

И орденами блещет

Его мундир.

Блистал он остроумьем,

Его любили все,

И женщины, и дети,

И шимпанзе.

Он был скрипач отменный

И повар‑виртуоз,

Был у него лохматый

Геройский пес.

А пес тот был опасен

И дьявольски силен.

На Мартина отчасти

Похож был он.

Ах, сколько похождений

И подвигов вдвоем

Свершили храбрый Мартин

С геройским псом!

И дружно все дивились

Их силе и уму.

Но их никто не видел…

Вот почему:

Создал героя автор,

И пес придуман им.

А этот недостаток

Неустраним.

Старый сенбернар Уракс, видно, остался доволен моим стихотворением — он больше не косился на меня с упреком. Зато Низинная бабушка осталась им совсем недовольна.

— Как ты смеешь очернять такого прекрасного храброго человека! Да еще утверждать, что таких вообще не бывает! — возмущалась она. — Лично я очень люблю читать книжки про таких людей. Ну‑ка, вспомни отважных рыцарей! Да взять хоть благородного Зигфрида!

— А вот прадедушка говорит, что Зигфрид вообще не герой, — поспешно возразил я. — По‑моему, тоже это смешно — быть героем по профессии! Я вот на этом плакате даже рассказ написал про одного смешного рыцаря. Хочешь послушать?

Низинная бабушка никогда не могла отказать себе в удовольствии послушать какую‑нибудь историю. Пробормотав что‑то насчет холодной картошки и остывшего морковника, она покорно уселась в сломанную качалку и вздохнула:

— Ох уж эти поэты! Из‑за них в доме всегда ералаш! Ну, читай, Малый!

Я сел на огромную бухту каната, подождал, пока Уракс устроится у моих ног, и начал читать:

###### ИСТОРИЯ ЖИЗНИ ПОМЕЛОТА, НЕПОБЕДИМОГО РЫЦАРЯ

Тот, кто родился сыном рыцаря, обречен был судьбой тоже стать рыцарем. Даже если ему куда милей было петь песни и играть на арфе, он все равно был обязан участвовать в турнирах, скакать на коне и колоть копьем. А уж песни пусть поют бродячие артисты!

Родился у одного рыцаря сын, и назвали его Помелотом. Был он с раннего детства неуклюж и таким уж остался на всю жизнь. И всю жизнь он любил вкусно поесть, петь песни и сочинять стихи. К рыцарским же забавам не имел ни малейшей склонности.

Однако как сын рыцаря он должен был учиться владеть мечом, скакать на коне, стрелять из лука, колоть копьем и всяким другим рыцарским искусствам, от которых нет никакого проку. Нередко он думал: «Чем обучаться всем этим искусствам, от которых все равно никакого проку, буду лучше петь и сочинять стихи!» Но отец его был неумолим. Он посылал его на соколиную охоту, заставлял стрелять в оленей и отрабатывать удар копьем. Только по вечерам Помелоту разрешалось играть на лютне под балконом у благородных дам, толстых и глупых, и воспевать в дурацких виршах свою выдуманную любовь к ним.

Наконец Помелот достиг того возраста, когда посвящают в рыцари, но поскольку он проявлял очень мало усердия в рыцарских искусствах, а усердствовал лишь в тайном сочинении стихов, то и был из рук вон плохо подготовлен к решающему турниру.

Но был ли то счастливый случай или судьба, только однажды, как раз за несколько дней до турнира, он дал своему коню (вообще‑то добродушнейшей лошадке) выпить немного сахарного сиропу в награду за усердие и был поражен, с какой жадностью тот на него накинулся. И тут ему в голову пришла одна совсем не рыцарская мысль.

«Раз лошади так любят сироп, — подумал он, — пусть сироп сделает меня самым непобедимым рыцарем на свете!»

Чтобы осуществить этот замысел, потребовались некоторые приготовления. Во‑первых, он заказал оружейнику доспехи столь устрашающие, как ни у одного другого рыцаря; во‑вторых, он заказал ему копье с причудливо изогнутым острием, нагонявшее на всех ужас; в‑третьих, он что‑то проделал с хвостом своей лошади. Но что именно, осталось для всех тайной до самой его смерти.

В день турнира, на котором его должны были посвятить в рыцари, он произвел огромное впечатление на всех, особенно же на дам в остроконечных шляпах с вуалью.

— Правда, он малость толстоват, — шептали они друг другу на ухо, прикрывая рот рукой в перчатке, — но видно по всему, что смельчак и герой.

Рыцари глядели на Помелота с неприязнью, потому что он был какой‑то совсем не такой, как они.

Борьба всадников на конях с копьями в руках всякий раз, как только появлялся Помелот, превращалась в довольно странное представление. Не успевал толстый рыцарь в устрашающих доспехах, наклонив чудовищное копье, ринуться на врага, как конь противника, видно испугавшись, отскакивал в сторону и, пристроившись позади лошади Помелота, принимался лизать ей хвост, словно моля о пощаде.

Семерым противникам пришлось отступить перед Помело‑том — они не могли удержать своих коней. В конце концов судьям турнира не оставалось ничего другого, как посвятить Помелота Непобедимого в рыцари.

И всю свою жизнь Помелот оказывался победителем любого турнира, хотя так ни разу и не свалил наземь ни одного рыцаря.

Многие рыцари заказали тому же оружейнику копья и доспехи, в точности такие же, как у Помелота, надеясь, что их устрашающий вид испугает лошадь противника. Но не тут‑то было! Противник нападал на них, как всегда, и им приходилось драться не на жизнь, а на смерть. Только на одного Помелота никто никогда не нападал, и он оставался непобедимым, целым и невредимым до конца своих дней.

На его могильном камне и теперь еще можно разобрать надпись:

Покоится здесь рыцарь Помелот,

Тот,

Который страх внушал и был так смел,

Что на турнире

Его никто и никогда не одолел

Покойся в мире!

Мало кто знает, о том, что Помелот с тех пор, как его посвятили в рыцари, никогда больше не упражнялся в рыцарских искусствах, а бродил в одежде странствующего певца‑миннезингера, распевая песни и сочиняя стихи. И всё же каждый раз, когда ему приходилось участвовать в турнире, он без всякой борьбы становился победителем.

Только одному из своих друзей, тоже миннезингеру, он доверил однажды свою тайну. От него‑то и узнали ее потомки. Мудрый мирный рыцарь, знавший, что лошади обожают сироп, а лакомятся им очень редко, перед каждым турниром смачивал хвост своего коня сладчайшим сиропом.

Я поднялся с огромной бухты каната, и Уракс тоже, потянувшись, встал. Только Низинная бабушка оставалась сидеть в сломанной качалке.

— Да ведь это был вовсе не рыцарь, Малый, этот Помелот! — разочарованно сказала она. — Ну какой же это герой?

— Дорогая бабушка! — торжественно провозгласил я. — Разреши твоему четырнадцатилетнему внуку разъяснить тебе, что на турнирах, как и в боксе, футболе, парусных гонках, всегда одерживает победу и получает награду самый тренированный, ловкий и искусный. Так же как сапожник — за лучшие сапоги, столяр — за лучший стул, пекарь — за самый вкусный хлеб, а поэт — за лучшее стихотворение. Это высокое мастерство. Но с геройством оно не имеет ничего общего. А вот представить этот рыцарский цирк в смешном свете — это уже почти геройство! Шагать с другой ноги, когда все маршируют в ногу, — это, может быть, поступь героя.

Бедная Низинная бабушка поняла меньше половины — я видел это по её глазам.

— Вы, великие поэты, только всех с толку сбиваете своими великими мыслями… — вздохнула она. — Так я, пожалуй, еще разлюблю прекрасного и отважного Зигфрида!

— Зато уж картошку, морковник и фрикадельки никогда не разлюбишь, — ответил я не без задней мысли.

Тут моя Низинная бабушка вскочила со своей качалки, воскликнув:

— Твой дедушка давным‑давно сидит на кухне и ждет обеда! Где ему догадаться, что его жена торчит здесь, на чердаке, и слушает всякие выдумки, вместо того чтобы исполнять свои обязанности! И что вы, поэты, вытворяете с нами, хозяйками! Верно говорит твоя Верховная бабушка…

Она выплыла из чулана и прошуршала вниз по лестнице.

Уракс, очевидно заметивший, что мы не во всем согласны друг с другом, остановился в нерешительности, идти ли ему за ней, и глядел на меня, ища поддержки. Тогда я сказал:

— Пусть себе женщины мечтают о прекрасных рыцарях, Уракс! Мы с тобой видим насквозь этих лжегероев, несмотря на лакировку! Пойдем‑ка лучше насладимся тем, что приготовили женщины на обед!

Пес Уракс, пожилой джентльмен, преданно проводил меня почти с приветливой улыбкой на нижний этаж, где мы с ним могли сколько душе угодно расхваливать кулинарные подвиги моей Низинной бабушки и наслаждаться их результатом.

Когда, уже под вечер, я прочел прадедушке мое новое стихотворение и рассказ (стихотворение я переписал со стены, а плакат захватил с собой) и сообщил ему, что сказала обо всем этом Низинная бабушка, он рассмеялся так весело, что все мои страхи рассеялись. Я решил, что врач, осмотрев прадедушку, нашел его болезнь вполне безопасной, и еще больше уверился в этом, когда он — на этот раз в моей чердачной каморке с окном на север — прочел мне рассказ, который за это время успел написать на обоях.

— Поскольку мы решили сегодня говорить про смешных героев, — сказал он, — я сочинил рассказ про клоуна. Только вот не знаю, получился ли он таким веселым, как я его поначалу задумал. Хочешь его всё‑таки послушать?

— Ну конечно, прадедушка!

В моем ответе, видно, сквозило такое любопытство, что он тут же развернул рулон и, расправив его на столе, надел очки и начал читать:

###### РАССКАЗ ПРО ПЕПЕ, КЛОУНА

Однажды, в ветреный октябрьский день, труппа испанского цирка погрузилась на пароход, отправлявшийся из Барселоны на Канарские острова — показать там свое искусство, фокусы, яркие костюмы и дрессированных зверей. Все цирковые актеры были в самом веселом расположении духа, кроме Пепе, клоуна, который вот уже целых четыре дня оставался хмурым и молчаливым, словно старый беззубый тюлень. Никто из пассажиров (кроме циркачей, на борту было еще человек сорок) не смог бы угадать в этом низеньком сварливом старикашке профессионального весельчака.

Несмотря на сильный западный ветер, рейс проходил вполне благополучно, и для плохого настроения у Пепе не было, собственно говоря, никаких причин. Но Пепе часто бывал дурно настроен — везде, кроме как на арене. Тот, кому постоянно приходится думать, как рассмешить других, сам разучается смеяться, потому что вглядывается во всё слишком пристально. Уголки губ клоуна все четыре дня были опущены вниз.

На пятый день ветер переменился, небо вдруг потемнело и с каждой минутой темнело все больше и больше. Море становилось бурным, приближался шторм, бортовая качка усиливалась. Корабль то вздымался на гребень волны, то словно проваливался в пропасть, вновь вздымался, ложился набок и вдруг, потеряв управление, сдался на волю ветра и волн.

Клоуну Пепе стало душно в каюте, и он вышел на палубу. Вымокший с головы до ног, он уже добрался до рулевой рубки, цепляясь за деревянные перила трапа, как вдруг из рупора раздался крик вахтенного:

— Капитан, руль вышел из строя!

В голосе вахтенного звучало такое отчаяние, что и без того озябшего Пепе пробрала холодная дрожь. Пока он соображал, остаться ли ему здесь, или вернуться назад, рядом с ним вдруг появился капитан — он тоже пробирался в рубку, держась за перила.

— А ну, марш в рубку! — заорал он в бешенстве. — Не хватало еще, чтобы кто‑нибудь свалился за борт! — И он втолкнул старого клоуна в рубку.

Пепе сразу обдало теплом, он услышал, как за ним, щелкнув, захлопнулась дверь, и вдруг вверх тормашками полетел в угол — корабль резко накренился на левый борт.

Капитан и штурман стояли к нему спиной, широко расставив ноги, и не обращали на него никакого внимания.

Пепе же наблюдал за ними очень внимательно. Он увидел, как капитан подошел к рулевому колесу и хотел было повернуть его, но вдруг отскочил и, ухватившись за задвижку иллюминатора, в ужасе уставился на руль: руль поворачивался так же легко, как колесо прялки.

— Сломан рулевой механизм! — крикнул штурман капитану, хотя тому это было и так совершенно ясно.

Капитан удрученно, медленно кивнул и сказал тихо, но так отчетливо, что Пепе смог прочесть по его губам:

— Мы ничего не можем поделать, штурман. Ничего!

Штурман, держась рукой за секстант, крикнул что‑то в ответ, что — Пепе не совсем понял. Он расслышал только:

— Пассажиры… паника… успокоить…

В этот момент, впервые за все последние дни, уголки губ клоуна поднялись вверх. Он кое‑как выпрямился и, повиснув на поручне, за который ему удалось уцепиться, крикнул опешившим морякам:

— Я даю представление!

— Что ещё за представление? — рявкнул капитан под грохот обрушившегося на корабль водяного вала.

— Я клоун, капитан! Сейчас я переоденусь!

Ловко перехватывая руками перекладины трапа, он стал спускаться на палубу, и, когда дверь за ним захлопнулась, капитан и штурман переглянулись.

— Он маленько того, капитан!

— Что? Кричите громче!

— Я говорю — этот уже спятил! Теперь остаётся только один способ поддерживать порядок — револьвер!

— Нет!

Так же медленно, как он перед тем кивнул, капитан покачал головой. И сделал знак штурману следовать за ним.

С трудом выбравшись из рубки, они спустились в каюту капитана. Здесь капитан сказал:

— С кораблем без руля, да еще во время шторма, ничего не сделаешь. Остается только поручить его провидению вместе с командой и пассажирами.

— Если пассажиры впадут в панику, капитан, тут и провидение не спасет!

— Знаю, штурман. Потому‑то и надо сделать попытку с этим клоуном. А вдруг ему удастся отвлечь людей!

— Это безумие, капитан! — Штурман продолжал кричать во все горло, хотя теперь, в запертой каюте, в этом не было никакой необходимости. — Во всей истории мореплавания панику побеждали только с помощью револьвера!

— Пока еще никакой паники нет, штурман, — спокойно возразил капитан. — Пока я принимаю предложение клоуна. Если клоун нам не поможет, револьвер всегда остается у нас в запасе. Позаботьтесь о том, чтобы пассажиры перешли в салон! Все до одного! И прикажите, чтобы машины продолжали работать. Пускай все думают, будто корабль идет по курсу.

Штурман хотел было что‑то возразить, но капитан резко отвернулся. И, пробормотав: «Слушаюсь!» — штурман покинул каюту.

Приказ капитана был выполнен, несмотря на сопротивление некоторых пассажиров. Страдавшим морской болезнью вручили бумажные пакеты. Лишь немногим тяжелобольным разрешено было остаться в каютах.

В салоне зажгли все лампы, и пассажиры заняли места — кто на стульях, привинченных к полу, кто прямо на ковре, прислонившись спиной к стене. Затем в салон вошел капитан и громко объявил, что на корабле все в порядке. Придется уж как‑нибудь перетерпеть шторм. С этим ничего не поделаешь! А потому решено устроить для пассажиров представление, чтобы они могли отвлечься и развлечься.

Капитан собирался было добавить еще что‑то, но вдруг дверь салона за его спиной распахнулась, кто‑то в пестром, подкатившись кубарем ему под ноги, обхватил руками его колени и, приподнявшись с пола, уставился, широко улыбаясь, ему в лицо. Это был Пепе, размалеванный, как и положено клоуну, в широченных штанах, развевающемся балахоне и огромных белых перчатках.

Все это произошло так неожиданно для пассажиров и даже для труппы цирка, что, заглушая рев стихии и шум машин, в салоне раздался взрыв хохота.

Когда же Пепе пощекотал своим огромным белым пальцем капитана под подбородком, а затем вдруг перекувырнулся назад через голову, все находившиеся в салоне окончательно развеселились, приободрились и стали следить за представлением с вниманием и интересом. Даже толчки, которыми пассажиры то и дело нечаянно награждали друг друга, показались им вдруг смешными.

Когда Пепе, вновь подкатившись кубарем к капитану, стал, цепляясь за него, выпрямляться и вдруг шлепнул его со всего размаху по карману кителя, так как корабль накренился набок, капитан тихо сказал:

— Продолжайте! Отвлеките их хоть на время! А я с командой займусь пока кораблем. Помогите нам!

Пепе повис у него на шее и шепнул ему на ухо:

— Сделаю все, что могу!

И тут он снова плюхнулся на ковер и попытался встать на голову, но безуспешно — салон качало из стороны в сторону.

Капитан тем временем незаметно выскользнул в коридор.

Два часа подряд не сходила улыбка с ярко‑красных губ Пепе, намалеванных на набеленном лице, два часа подряд потешал он публику, как никогда раньше. Он кувыркался, прыгал, шатался, шлепался, катился кубарем, и его трюки в качающемся салоне увлекали зрителей мастерством и находчивостью. Актеры цирковой труппы, видавшие его на арене множество раз, смеялись и хлопали вместе со всеми, будто смотрели его номер впервые.

— Так он еще ни разу не работал на манеже! — воскликнул Рамон, дрессировщик, а директор, музыкальный эксцентрик, эквилибрист и акробат подтвердили, что Пепе еще никогда не выступал с таким блеском.

Лучший свой номер — виртуозную игру на крошечной скрипочке, чуть побольше ладони, — Пепе оставил напоследок. Скрипочку он заранее спрятал в люстру, свисавшую с потолка салона.

Теперь, когда у него после двухчасового веселого кувыркания кружилась голова и пёстрый клоунский костюм прилип к мокрой от пота спине, теперь, когда у него уже не хватало дыхания, а все тело было в синяках, он решил продемонстрировать свой коронный номер со скрипкой.

Однако он не успел еще достать скрипку, как в салон опять вошел капитан. Он был явно удивлён, что пассажиры так беззаботно веселятся.

Когда Пепе, под восхищенные крики зрителей, вновь бросился на шею этому высокому широкоплечему человеку, капитан сказал ему так тихо, что никто больше его не услышал:

— В трюме вода. Матросы откачивают ее насосом. Не знаю, сколько мы еще продержимся. А вы сколько продержитесь?

Измученного и обессилевшего Пепе эта весть поразила больше, чем ожидал капитан.

— Не знаю, сколько я еще продержусь, капитан, — пробормотал Пепе, и уголки его ярко‑красных губ опустились вниз.

Клоунская маска Пепе четко отразила его усталость и отчаяние. Зрители, до этой минуты веселившиеся вовсю, вдруг испугались. Пепе без слов сообщил пассажирам дурное известие.

Однако, заметив, что зрителям передалось его потрясение, он сразу нашел выход. На лице его в ту же секунду появилась плаксивая, обиженная гримаса. Уцепившись одной рукой за шею капитана и повиснув на ней, как обезьяна, он громко заревел, обращаясь к публике:

— Он меня не лю‑ю‑бит!

И, оторвавшись от капитана, он исполнил номер со всхлипами, который обычно проходил с не меньшим успехом, чем его коронный номер со скрипочкой. Исполняя его, он все снова запевал песенку о покинутой невесте моряка, но так ни разу и не допел ее до конца из‑за душивших его рыданий и всхлипываний.

Даже сейчас, когда корабль швыряло то вверх и вниз, то из стороны в сторону, здесь, в поднимающемся и накреняющемся салоне, «покинутая невеста моряка» имела полный успех. Пассажиры хохотали до слез.

Никто не замечал, что слёзы, медленно катившиеся по щекам клоуна, — это слезы усталости и отчаяния. Слезы бедной, покинутой невесты, так потешавшие публику, были солоны и горячи, как бывают только настоящие слезы. Силы Пепе были на исходе.

Но старый клоун обладал удивительной выдержкой и хорошо знал зрителей. Он знал, что после раскатов смеха надо дать для разрядки номер с лёгкой улыбкой, что‑нибудь задушевное, милое, успокаивающее. На такой номер Пепе был еще способен. Он подпрыгнул, вытащил из люстры свою скрипочку и извлёк из нее несколько высоких звуков — самое начало мелодии. Словно маленькие голуби затрепетали на ветру.

И вот он снова овладел публикой. Почти на целый час приковал он ее внимание к своей крошечной скрипке.

А за этот час — пока клоун играл на скрипке, то певуче и нежно, то бурно и страстно, пока половина экипажа, тяжело дыша, откачивала воду насосом — решилась судьба корабля: шторм постепенно начал стихать, а с острова Тенерифа подошел катер спасательной службы, услышавший сигнал бедствия, переданный судовым телеграфом. Хотя море продолжало бушевать, катеру удалось пришвартоваться к правому борту корабля.

Пепе как раз дошел до самой вершины своего виртуозного номера, когда в салоне вновь появился капитан. Он хотел, видно, сделать какое‑то сообщение, но, увидев, как зрители поглощены представлением и с каким вниманием слушают они клоуна, извлекающего неистовые звуки из крошечной скрипочки, остановился в дверях. Штурман, держа руку на кобуре револьвера, протиснулся было в салон вслед за капитаном, но тот оттеснил его плечом назад в коридор.

Только когда Пепе, закончив концерт звучным аккордом, поклонился публике, а пассажиры захлопали и закричали «браво!», капитан подошел к клоуну и сказал ему на ухо:

— Подошел спасательный катер!

Уголки губ Пепе поднялись вверх, ярко накрашенный рот растянулся чуть ли не до ушей… и вдруг руки его повисли как плети, скрипочка и смычок полетели на ковер, и он, потеряв сознание, рухнул на пол у ног капитана. Большой красный рот на белом лице клоуна всё ещё продолжал улыбаться.

Только теперь пассажиры заволновались. Одни закричали, другие старались подняться на ноги. Штурман с решительным видом вошел в салон, чтобы в случае надобности навести порядок с помощью строжайших мер. Но капитан заявил ему, что теперь уже нет никаких оснований для паники. Шторм стихает, спасательный катер пришвартовался.

Спокойно, почти весело, капитан обратился к пассажирам:

— Оставайтесь все на своих местах! Нашего друга Пепе сразила добрая весть!

Он поднял на руки потерявшего сознание клоуна и передал его двум матросам и продолжал:

— Наш корабль, уважаемые дамы и господа, не может при таком сильном волнении войти в гавань. Поэтому с Тенерифа прибыл катер, который всех вас переправит на берег. Прошу пассажиров от первой до пятнадцатой каюты приготовиться к первому рейсу.

Без особых волнений и приключений все пассажиры корабля, а затем и команда были доставлены на берег. На следующее утро — море было спокойно, а на небе светило солнце — буксир подтащил корабль, потерпевший аварию, в гавань. Там выяснилось, что какой‑то тяжелый предмет, пригнанный волнами, — скорее всего большое бревно, — ударив в корму корабля, не только отколол лопасть гребного винта, но и перебил тяги руля.

Лишь в тот день, когда корабль был отбуксирован в гавань, пассажиры узнали, в какой опасности они находились. Они прочли об этом в той же самой газете, в которой было помещено объявление о вечернем цирковом представлении с участием знаменитого клоуна Пепе.

Нечего и говорить о том, что цирк в этот вечер был полон народу. Все пассажиры корабля, разумеется, тоже находились среди публики, приветствовавшей Пепе громкими аплодисментами и криками «браво!». И только теперь их охватил ужас, когда Пепе, размалёванный, как и положено клоуну, в широченных штанах, развевающемся балахоне и огромных белых перчатках, появился на арене и заиграл на крошечной скрипочке… Словно маленькие голуби затрепетали на ветру и полетели под купол цирка.

Прадедушка свернул обои в рулон, а я вздохнул с облегчением, но, как видно, слишком уж громко, потому что Старый удивленно спросил:

— Ты что это так пыхтишь?

— Очень захватывающая история, прадедушка, — ответил я. — А вообще‑то она совсем не веселая.

— Это я тебе сразу сказал, Малый! Я собирался написать забавную историю про профессионального весельчака, а у меня получилось чуть ли не героическое сказание.

— А чем все‑таки Пепе герой, прадедушка? Я вижу, что он герой, а почему — объяснить не могу.

— По‑моему, Малый, тут многое сочетается. И мужество решиться на это представление в такую минуту. И выдержка — ведь он продолжал веселить публику и тогда, когда положение казалось безнадежным. И упорство, несмотря на страшную усталость. Собственно говоря, Пепе совершил чудо — он не только удержал пассажиров от паники, которая нередко приводит к необдуманным действиям и даже к гибели, но еще и заставил их смеяться. Он был не только клоуном, Малый, но и врачом и волшебником — он спасал смехом. Он был героем под маской клоуна.

Прадедушка на минутку задумался и, улыбнувшись, добавил:

— Он даже был, если хочешь знать, героем труда.

— Как так, прадедушка?

Он так хорошо работал, что отвлек пассажиров от опасности, грозившей их жизни… Знаешь, похоже, что нас сейчас позовут ужинать… А я и проголодаться‑то не успел!

Я взглянул на часы и сказал, что нам вполне еще хватит времени сочинить целых два «обойных» стихотворения — каждый по одному!

— Прекрасно, — согласился прадедушка, — приступим. Давай‑ка теперь напишем о таком — как бы это сказать? — задорном мужестве при самых отчаянных обстоятельствах, или, как говорят, о юморе висельника. Ведь часто это юмор героический.

— Чур, я сочиняю про разбойника! Песню разбойника‑висельника! — поспешно сказал я.

— Только вот герой ли разбойник? Это еще вопрос, Малый. Ну что ж, попробуй, не возражаю! А я придумаю совсем другую песню.

Я отправился за новым рулоном обоев и тут сделал одно открытие: кто‑то рылся в наших рулонах. Мы принялись писать — сразу с двух сторон.

Мы строчили, не отрывая карандаша от бумаги, — оба мы были сегодня в ударе. Не оттого ли, что утром к прадедушке приходил доктор и, когда он ушел, стало как‑то легче на душе?

Прадедушка, к моей радости, опять уступил мне очередь, и я голосом балаганного зазывалы стал громко читать, держа в руках развернутый рулон:

###### Песня разбойника с петлей на шее

Сюда, сюда! Вали, народ, толпою!

Сияет солнце! Всем бесплатный вход!

Меня, неукротимого в разбое,

Сегодня поведут на эшафот.

Пред всем народом, на глазах господ

Казнят разбойника. Ну что ж, он казни ждет!

Со мною процветали по дорогам

Разбой, убийство, кража и грабеж.

На совести грехов ужасных много —

Свершился суд. От кары не уйдешь.

Пред всем народом, на глазах господ

Разбойник, в петлю лезь! Ну что ж, он петли ждет!

Иной, быть может, мною обворован.

Сочтёмся же, пришёл расплаты час.

Верёвку вы сулили мне в обнову?

Так вот она! Вкруг шеи обвилась.

Пред всем народом, на глазах господ

Отмстят разбойнику. Ну что ж, он мести ждет!

Прощай навек, разбойничья свобода,

Прощай навек, веселое житье.

В последний раз пред всем честным народом

Я покажу бесстрашие свое.

Пред всем народом, на глазах господ

Умрёт разбойник. Гордо он умрет!

Последнее четверостишие я проорал на весь чердак диким и гордым разбойничьим голосом.

— Гм… да… — заметил прадедушка. И только немного погодя добавил как‑то особенно тихо: — Это производит впечатление, Малый, такая бравада. И вправду кажется, будто твой разбойник умирает как герой. Но вот подумай. Кто живет разбоем, тот всегда играет со смертью. Смерть — его ставка в игре. И когда она приходит — ну что ж, игра проиграна. Он умирает как игрок, а не как герой.

— Но разве это не мужество — веселиться с петлей на шее?

— Кто ни во что не ставит чужую жизнь, Малый, тот и свою невысоко ценит. Крестьянин из моего стихотворения проявил куда больше мужества в своей строптивой висельной песне, чем твой разбойник в своей бесшабашной.

— Какой крестьянин, прадедушка?

— Крепостной крестьянин из давних времен, восставший против своих господ за право и справедливость. Он у меня поет, стоя под виселицей, с петлей на шее, песню о непокорности. Вот слушай!

Прадедушка снова надел очки — все это время он вертел их в руках — и начал читать:

###### Песня крестьянина с петлей на шее

Меня повесить, господа?

Я в жизни вам помехой?

Пеньковый галстук? Что ж, тогда

Мне будет смерть потехой.

Отсрочку мне дает палач.

Эй, баре! Песню слушай!

Пусть лучше песня, а не плач

Вам раздирает уши.

До нитки оберете нас,

Как липку обдерёте.

А кто из вас в свой смертный час

Споёт на эшафоте?

Смотрите ж, как на смерть идут!

Нет, смерть вам не подвластна!

Прощай навек, мой тяжкий труд,

А виселица, здравствуй!

Я так и не успел сказать прадедушке, что, по‑моему, этот крестьянин — самый что ни на есть настоящий герой, потому что прадедушка сразу заговорил:

— В старину случалось, что бунтовщиков и миловали, если они били челом своим повелителям и молили о прощении. А моему крестьянину свобода и справедливость дороже жизни в ярме. У него ведь, наверно, оставались жена, дети. И все‑таки в своей песне он не просит пощады. Это песня героя. И господам его было не до смеха. Юмор висельника горше полыни.

— Значит, это юмор без смеха, прадедушка?

— Да нет, Малый. Только смех тут особый. Он освобождает человека от страха, разрывает его оковы. Бывают даже случаи, когда смех спасает висельника от верёвки. Моя «Баллада о Мудром Гусе» как раз об этом. Хотя в ней и виселицы‑то никакой нет.

— Я ведь уже слыхал эту балладу, да, прадедушка?

— Да, года два назад я тебе ее читал. А сегодня прочту опять — уж очень она нам подходит.

Прадедушка на минуту задумался, припоминая, а потом стал читать наизусть:

###### Баллада о Мудром Гусе

Как попался Гусь Лисе,

Говорит Лисица:

«Больно думать о Гусе,

Да нельзя ж поститься!» —

«Разумеется, Лиса,

Вы меня съедите.

Для бесправного Гуся

Где найтись защите?

Что ж, попался, — значит, все!

Но скажу вам честно:

Яд смертельный есть в гусе,

Где же — неизвестно.

Иногда тот яд в хвосте,

Иногда в головке,

В лапках, в клюве, в животе

Спрятан очень ловко.

Вы, Лиса, учтите впредь:

Гусь попался — надо

Всё проверить, осмотреть,

Как там насчет яда.

Вот, к примеру, у меня

Яд запрятан в шее,

Действует к исходу дня,

Сплюньте‑ка скорее!

Как проглотишь, так помрешь

В боли и мученьях,

А симптомы — в теле дрожь

И в желудке жженье.

Лапу, часом, не свело?

Есть температура?»

У Лисы от этих слов

Дыбом встала шкура.

Показалось ей сперва,

Будто ногу колет,

Закружилась голова,

Хвост взвился от боли.

«Крышка, — думает Лиса, —

Яд у гада в шее!

К черту этого Гуся,

Ещё околею!»

Вперевалку Мудрый Гусь

Удирает в стадо

И гогочет на бегу:

«Так Лисе и надо!

Хоть шиплю, да не змея,

Нету во мне яда!

Обманул лисицу я!»

Вот и вся баллада.

Я рассмеялся, но сказал, что, по‑моему, этот гусь вовсе не герой. Просто он спасал свою жизнь. Вот и все.

— И все‑таки это юмор висельника, Малый! — оживился прадедушка. — Ведь страх смерти не лишил его дара речи, а сделал остроумным и находчивым. Героизм часто растет на меже между жизнью и смертью. Жив остается тот, кто сохраняет присутствие духа. Вот как поросёнок с часиками на копытце из старинной песенки.

— Из какой песенки, прадедушка? Я такой никогда не слыхал!

— А ведь верно! — кивнул Старый. — Ты и не мог её слышать. Её пели, когда появились первые ручные часы. Тогда все её пели, а теперь все позабыли. Ну, а я так иногда забываю далее, что ты на семьдесят пять лет меня моложе!

— Споёшь мне эту песенку, прадедушка?

— Попробую, Малый.

Прадедушка старательно откашлялся и в самом деле запел:

Поросенок для красы,

Для красы, для красы

На ремешке носил часы

С секундной стрелкой даже.

И возле бойни всякий раз,

Всякий раз, всякий раз

Он проверял, который час,

И хрюкал очень важно.

Он думал: «Как придет пора,

Придет пора, придет пора

Мне помереть от топора,

Взгляну я напоследок,

Как растопырили часы

Свои усы, свои усы,

Свои усы, свои усы

Из серебристых стрелок».

Но вот настал тот страшный миг,

Страшный миг, страшный миг,

Когда для превращенья в шпик

Он был на бойню стащен.

Мясник сказал: «У поросят…

У поросят?.. У поросят?!

И ремешок и циферблат?!

Ты, брат, не настоящий!»

И вот, подумать только, он —

Только он! Только он! —

Был из‑за часиков спасён!

И ныне жив и весел.

Он не боится мясника,

Мясника, мясника,

Пьет в день три литра молока

И прибавляет в весе.

Повторы этой песенки, которые раньше, наверно, подхватывали все хором, я пел вместе с прадедушкой, и, несмотря на его хрипловатый голос, получилось совсем неплохо. Я изо всех сил захлопал в ладоши. И вдруг за дверью тоже кто‑то захлопал. Мы с прадедушкой с удивлением обернулись.

— Эту песню я знаю, — сказала Верховная бабушка, входя в комнату. — Здорово вы ее спели! А ты, отец, оказывается, еще моложе, чем я думала. — Но тут же добавила: — Надеюсь, этот поросёнок не имеет отношения к героям?

— Да как же, Маргарита, — возмутился Старый, — конечно, имеет! В таком безнадежном положении он сохраняет юмор и присутствие духа! Даже на бойню отправляется при часах! Значит, у него храброе сердце!

Больше мы в этот вечер не говорили о героях. Хромая и ковыляя, спустились мы, Старый и Малый, вслед за Верховной бабушкой на нижний этаж, и вид у нас был при этом совсем не геройский. И только на последних ступеньках лестницы прадедушка, тяжело опираясь на мое плечо, проговорил, словно рассуждая сам с собой:

— В сущности, героический поступок, видно, всегда серьезен. Юмор висельника — это преодоление страха. Настоящий смех приходит потом, когда все позади. Или когда рассказывают о подвиге…

Мы сели на свои места за столом, на котором уже стояли миски с дымящимся супом.

За ужином Верховная бабушка была так внимательна к прадедушке, что я снова вспомнил об утреннем визите врача, который хотели от меня утаить.

Только позже, уже в постели, мне пришло в голову, что, наверно, прадедушка потому и читал сегодня такие веселые стихи и рассказы, что хотел скрыть от меня, как серьёзно обстоит с ним дело. И я стал молиться, хотя никогда этого не делал: «Господи, пусть будет что угодно, только сохрани мне прадедушку хоть на несколько лет!»

## *Четверг,*

*в который мне оперируют пятку. Речь здесь пойдет о тиранах и об их подданных, а также о крутых яйцах и о яйцах всмятку; один и тот же герой будет показан здесь дважды, но по‑разному, и еще мы увидим, что такое собачья жизнь и как муравьи могут одолеть медведя; все заканчивается прославлением Верховной бабушки, которого тут давно не хватает. Итак,*

###### ЧЕТВЕРГ

Когда я проснулся утром, в доме пахло как в кондитерской. А рано в этом году Верховная бабушка начала печь печенье к рождеству! Запах свежих анисовых коржиков щекотал мне нос, и я тут же вскочил, надеясь попробовать их уже за завтраком.

И не обманулся. Кроме какао с бутербродами, мы с прадедушкой получили ещё и коржики и теперь уплетали их, весело похрустывая.

Но долго блаженствовать нам не пришлось — наш завтрак был прерван появлением врача. Когда я его увидел, сердце у меня опять тревожно забилось. Однако на этот раз он недолго занимался прадедушкой. Как выяснилось, он пришел главным образом из‑за моей пятки. Осмотрев ее, он тут же велел Верховной бабушке приготовить горячую мыльную воду.

Я подержал ногу в мыльной воде, и кожа на пятке размягчилась. После этого врач произвел на кухне небольшую операцию. Он вскрыл нарыв, сделав надрез в виде звёздочки, и выдавил из него гной. Потом густо смазал рану какой‑то черной мазью и перебинтовал мне ногу.

— Так, — сказал он затем бодрым голосом, — теперь вся дрянь вышла, пусть только рана подживет. Приляг на часок, Малый.

Прадедушка, наблюдавший за этой процедурой, сидя на скамейке в углу кухни, посоветовал мне лечь на диван в столовой и полистать какой‑нибудь из альбомов, привезенных нашими моряками, — в доме они лежали целыми штабелями.

— А я поплетусь потихонку наверх, Малый, — добавил он. — Когда боль пройдёт, приходи и ты. А пока отдохни.

Я без возражений последовал его совету, потому что в пятке моей стучало, тянуло и дергало — казалось, всем моим телом верховодит пятка. Даже мысли мои словно засасывала боль в пятке. Я был рад, когда смог наконец улечься на диван, взгромоздив забинтованную ногу на четыре подушки.

К счастью, боль не вечна. Уже полчаса спустя мои мысли вырвались из плена и полетели в широкий мир навстречу гранитным и мраморным королям, полководцам, изобретателям и другим прославившимся людям: я рассматривал альбом, привезенный нашими моряками из последнего рейса. Он назывался «Знаменитые памятники мира». В этом альбоме было больше двухсот фотографий, и под каждой подробно объяснялось, кому поставлен памятник и почему эта личность увековечена в мраморе или в бронзе.

Среди всех этих знаменитостей больше всего мне понравилась одна маленькая девочка, которой поставили памятник на площади городка Хартестольта. Прочитав её историю, я решил даже посвятить ей балладу. И так как вокруг фотографий было много свободного места, стал записывать её тут же, на полях альбома.

Закончив балладу, я настолько воспрянул духом, что, поднявшись с дивана, стал взбираться с альбомом под мышкой — шаг за шагом, ступенька за ступенькой — по лестнице на чердак.

К счастью, Верховная бабушка услыхала мои шаги, только когда я был уже почти наверху. Она крикнула мне вдогонку:

— Ты что, решил заработать новый нарыв? Не можешь послушать совета взрослых? Лежать, сказал доктор! От‑ды‑хать! А не лазить по крышам!

— Я там сразу лягу, Верховная бабушка! — крикнул я сверху. — Прадедушка за мной последит.

— Он и за собой‑то последить не может! — раздалось снизу. — Не слушайся, не слушайся! Вот увидишь, чем это кончится!

Внизу хлопнула дверь, а другая дверь, на чердаке, открылась. Из неё выглянул прадедушка и спросил:

— Что это она там громыхает?

— Говорит, чтобы я лежал, а не лазил по крышам.

— И совершенно права, Малый! Ну‑ка ложись! А я тебе что‑нибудь почитаю для развлечения.

В этот день опять была вытоплена моя каморка. Верховная бабушка, верная своим принципам, каждый день протапливала для нас, поэтов, другую комнату — то с окном на север, то с окном на юг.

В северной комнате было достаточно подушек, чтобы взгромоздить на них ногу. Вскоре я уже снова лежал, как прописал мне врач, и рассказывал прадедушке, что сочинил балладу про девочку, которой поставили памятник в Хартестольте.

— Знаешь, сколько тут ненаписанных баллад, прадедушка? — сказал я, показывая ему альбом. — Ведь здесь, наверное, множество героев!

— Вполне вероятно, Малый, — ответил прадедушка. — Может, мы и займемся завтра сочинением баллад про памятники. Это наверняка и весело, и может кое‑чему научить. Только не так‑то это просто — не думаю, что они сами так и посыплются из альбома. Во всяком случае, я хочу сперва немного его полистать. Припаси‑ка свою балладу на завтра, а сейчас послушай еще одну балладу про Геракла. Или, может, у тебя еще сильно нога болит?

— Нет, прадедушка, только тикает, как старые часы с маятником.

— Это от мази, Малый. Хороший знак! Ну, надеюсь, Геракл отвлечет тебя от тиканья в пятке.

Говоря это, он уже перелистывал тетрадку в черной клеенчатой обложке.

— Вот он, подвиг, который я хотел тебе прочесть, — сказал он и поправил очки.

###### Баллада о Геракле и огнедышащих конях

Геракл был смел и полон сил

И, как гласит преданье,

Геройский подвиг совершил,

Великое деянье.

Когда‑то Фракия была

Под властью Диомеда[[10]](#footnote-10).

Терпел народ немало зла,

И нищету, и беды.

В конюшне царской всем на страх

Там ржали кони грубо:

Не пена, пламя на губах,

Острей кинжалов зубы.

Царь Диомед бросал им в пасть

Прохожих и проезжих,

И мог во Фракии пропасть

Любой герой заезжий.

Геракл, узнав про тот закон,

Ужасно разозлился,

Схватил свою дубинку он

И во дворец явился.

Герой с царя корону сшиб,

А свита разбежалась —

В одну минуту ни души

В покоях не осталось.

И тут Геракл схватил царя,

Как детскую игрушку,

И, возмущением горя,

Швырнул его в кормушку.

А через несколько часов,

Придя коней проведать,

Он не увидел ни усов,

Ни палки Диомеда.

И огнедышащих коней

Как будто подменили:

Овечек сделались смирней

И головы склонили.

Когда их в сбрую запрягли

И дали им напиться,

Они послушно повезли

Геракла в колеснице.

Так доказал Геракл, храбрец,

Что поздно или рано

Тиранству настаёт конец —

Он ниспроверг тирана.

Прадедушка захлопнул тетрадь, бросил ее на комод и задумчиво сказал:

— Собственно говоря, странно, что я одобряю этот подвиг Геракла. Ведь это убийство.

— Это убийство многих спасло от смерти, — возразил я. — Убийство тирана, по‑моему, всегда хорошее дело. И всегда героический подвиг.

— Под этим я подпишусь не без оговорок, Малый. Тут надо судить всякий раз по‑разному. Да и тираны бывают разные.

— Чем же они отличаются друг от друга, эти кровопийцы?

— А вот, например, временем, в которое живут. Во времена Геракла тиран был просто жесток. Он заставлял убивать всех, кто был ему не по нраву. И когда его самого в один прекрасный день убивали, все считали это заслуженной карой. Тирану покорялись потому, что он обладал властью, но каждый знал, что он не прав и несправедлив. В наши дни тираны подходят к делу более тонко. Они обеспечивают себе официальное разрешение на каждое убийство.

— Не понимаю, прадедушка, — сказал я.

— Ну вот, Малый, представь себе, скажем, тирана, который не выносит людей с веснушками. Он уже не может просто так взять да и приказать всех их уничтожить, как это делали прежние тираны. Он теперь подкупает за большие деньги профессора, чтобы тот научно доказал, что у всех людей с веснушками коварный характер. Потом из этого создают учение — учение о чистой и нечистой коже. А на основе учения издают закон о защите носителей чистой кожи. И этим законом оправдывают кровавые приговоры, которые всех подданных с веснушками передают в руки палача.

— Но ведь это подло, прадедушка! По‑моему, это еще хуже, чем тиранство во времена Геракла!

— Это и в самом деле хуже, Малый. Потому что неправоту переряжают в право, а произвол — в законность. И отравляют души. Мне как раз пришла на память одна история, как тиран — правда, с ограниченной властью: он был всего лишь бургомистром — старался отравить дух города и души горожан. Вот послушай!

Старый откинулся на спинку своего кресла на колесах, а я поудобнее устроил ногу на горе подушек и стал слушать.

###### РАССКАЗ О КРУТЫХ ЯЙЦАХ

Яйцам живется нелегко. Их скорлупки хрупки, как счастье. Только крутые яйца могут еще кое‑как противостоять ударам чайной ложки‑судьбы.

Семейство Тверджелтков — эту фамилию они носили не зря — было крутым и настолько твердым, насколько могут быть твердыми крутые яйца. Они бесстрашно совершали прогулки по окрестностям, взбирались по самым крутым тропинкам и не боялись даже кататься по булыжнику в коляске без рессор, с петухом в упряжке.

Тверджелтки жили тем, что мастерили и продавали шляпы разных форм, цветов и размеров, — шляпы для куриных, утиных, голубиных и даже для страусовых яиц. Покупатели оставались обычно очень довольны. Случалось, к ним заходил даже помидор или луковица, чтобы заполучить шляпу самого модного фасона.

Город, в котором жили Тверджелтки, назывался Яйцеградом, и население его в основном состояло из сырых яиц и яиц всмятку. Всем им приходилось чрезвычайно осторожно продвигаться по жизни, чтобы не разбиться. И это сильно портило их характер.

А надо сказать, что с тех пор как некий Адольф Бякжелток, сырое куриное яйцо, пролез в бургомистры, все разговоры о крутых яйцах стали вестись в Яйцеграде в каком‑то странно ядовитом тоне. Бургомистр Бякжелток, яйцо чрезвычайно ограниченное, был твердо убежден, что в скорлупке крутого яйца заключено всё зло. Как только кто‑нибудь начинал, например, возмущаться высокими ценами в городе, он говорил:

— Это крутые сговорились повысить цены!

А когда кто‑нибудь жаловался на безработицу, рычал:

— Это всё крутые! Хотят сами все денежки заработать!

Писарь бургомистра, пустенькое воробьиное яичко, все только кивал да поддакивал своему начальнику, когда тот заводил речь о крутых (это было яичко еще более ограниченное). И вот однажды это круглое ничтожество задало своему начальнику такой вопрос:

— Что есть сердце яйца, ваше высокородие?

— Желток, — ответил Бякжелток.

— Совершенно верно, ваше высокородие! Ну, а если у кого желток твердый, разве это не значит, что сердце у него каменное? Вот эти‑то каменные сердца и виновны во всех несчастьях нашего города!

— Отлично сказано, отлично доказано, мой дорогой писарь! — похвалил его бургомистр. — Запишите это, пожалуйста, на бумажке, а я велю это напечатать и распространить, чтобы у всех наших яиц открылись глаза на происки крутых!

Разумеется, всё это было полной бессмыслицей, но тем не менее пустая выдумка круглого дурака была напечатана и получила широчайшее распространение. Каждому, кто обращался за чем‑нибудь в магистрат, например за бланком или за справкой с печатью, вручали одновременно специальный листочек, на котором черным по белому было написано, что во всех несчастьях города виноваты крутые.

Яйца поострее, постучав себя по скорлупке, говорили:

— У бургомистра заскок! Не всё ли равно, крутой желток или всмятку? Яйцо всегда остаётся яйцом!

Но яйца потупее поверили тому, что было написано чёрным по белому. Они шептали друг дружке:

— И правда! Ведь вышли же крутые сухими из воды!

— А видали, как они вертятся, как крутятся?!

Некоторые же просто завидовали крутым: все‑таки им легче противостоять ударам чайной ложки! Зависть и ненависть, подогреваемые бургмистром, создали в городе настолько накалённую атмосферу, что яйца поострее опасались — достаточно было искры, чтобы вспыхнул пожар.

Иногородние, приезжавшие в Яйцеград на экскурсию или по делам: помидоры, айва, луковицы, картофель — удивлялись этим нападкам на крутые яйца. Они казались им совсем необоснованными. «Томатная газета», орган помидоров, даже послала в Яйцеград своего специального корреспондента.

Этот корреспондент сообщал: «Общественное мнение в городе отравлено, спокойствие нарушено. Нетрудно предсказать, что подогревание самых низменных инстинктов у населяющих город яиц официальными яичными властями может привести к беспорядкам».

Семья Тверджелтков вначале не принимала всерьёз всякие толки, слухи и сплетни, но постепенно и она стала понимать, что, пожалуй, тут дело тухлое. Даже шляпы у них уже почти никто не покупал, разве что близкие друзья да иногородние. Тверджелткам грозило полное разорение, и многие соседи перестали с ними здороваться.

— Необходимо принять срочные меры, — решили Тверджелтки. И они пригласили к себе в гости все крутые яйца.

Темной ночью в доме Тверджелтков собрались все крутые — многие из них не были даже знакомы друг с другом. Совещание проходило при закрытых дверях и занавешенных окнах.

Семья Скорлупкиных, занимавшаяся изготовлением ёлочных игрушек из яичных скорлупок, предлагала всем крутым покинуть город.

Семья Глазуний, работавшая на фабрике сковородок, предлагала написать в городской магистрат жалобу на Бякжелтка.

Семья Белковых, державшая магазинчик «Поваренная соль», предлагала поговорить с одним знакомым из магистрата.

Но у семьи Тверджелтков нашлись возражения против всех этих предложений. Выехать из города — значит поддержать болтунов и сплетников. Жалоба в магистрат даст толчок для новой вспышки клеветы. А если и удастся убедить и переманить на свою сторону одного члена городского магистрата, то это ещё не значит, что весь магистрат окажется на стороне крутых.

— Так что же нам делать?.. — тяжело вздохнули Скорлупкины. — Через месяц мы окончательно разоримся. А если этот Бякжелток будет продолжать в том же духе, то в один прекрасный день какие‑нибудь подонки пристукнут нас нашими же собственными чайными ложками.

Только в полночь было внесено первое разумное предложение.

— Разве каждое яйцо не вправе само решать, как ему быть сваренным — всмятку или вкрутую? — спросил самый старший из Тверджелтков. — Давайте построим большую Кипятильню‑Яйцеварку и уговорим всех жителей города свариться вкрутую. Кто сам сварен вкрутую, тот не станет травить крутых.

— Не забывайте, — возразил ему старший из Скорлупкиных, — что быть сваренным вкрутую в настоящее время считается позором. Кто же захочет добровольно подвергать себя позору?

Все яйца снова упали духом.

Наконец мать семейства Глазуний сказала:

— Это была хорошая мысль — убедить горожан свариться вкрутую. Только, друзья мои, такие дела надо делать в полной тайне. У каждого из нас остались еще кое‑какие друзья в городе. Объясним им, насколько проще жить на свете, когда ты сварен вкрутую, насколько уверенней и бодрее себя чувствуешь. Убедим их свариться и понадеемся на то, что и хороший пример заразителен.

Предложение это было принято, и на другой же день крутые посетили всех своих немногочисленных друзей, какие у них еще остались среди сырых яиц и яиц всмятку.

Круто пришлось крутым яйцам, когда они принялись уговаривать других свариться вкрутую. И всё же, поскольку Тверджелтки, Скорлупкины, Белковы и им подобные твёрдо обещали молчать о тайной варке вкрутую, многие яйца и в самом деле решились свариться и теперь со всей твёрдостью уговаривали своих друзей сделать то же самое. Количество горожан, сваренных вкрутую и способных твердо противостоять ударам чайной ложки, все увеличивалось.

Так постепенно все больше и больше горожан выходило из‑под влияния бургомистра Бякжелтка. Он и сам уже это заметил, но как был болтуном, так болтуном и остался, даже стал еще болтливее прежнего. Когда ему сообщили о тайных сборищах крутых, он повелел срочно распропагандировать в печати, что эти выродки собираются на пир и пожирают ночью своих собственных детенышей. На заседании городского магистрата, члены которого — или, по крайней мере, половина из них — были уже крутыми, Бякжелток разорялся вовсю.

— Я требую от имени всех подлинных яиц, чтобы все неистинные яйца — я имею в виду крутые! — были убраны со всех официальных должностей из всех государственных учреждений! Я требую издания закона об охране чистоты яичного желтка! Долой крутые яйца!

После этой речи впервые за всю историю города возникли разногласия в городском магистрате. Бякжелток, к своему ужасу, установил, что его поддерживает меньше половины членов совета. И тогда он решил выйти на площадь.

У бургомистра и теперь еще были в городе горячие приверженцы — тухлые яйца и яйца с пятнами, ни к чему непригодные. И они были рады свалить на других вину за свою тупость. Вот эти‑то тухлые яйца и яйца с пятнами и собрались по призыву Бякжелтка в один воскресный день на главной площади города перед зданием городского магистрата. Они выкрикивали лозунги, которые написал им на бумажке Бякжелток:

КТО С ТВЕРДЫМИ ЖЕЛТКАМИ,

У ТЕХ СЕРДЦЕ — КАМЕНЬ!

КТО КРУТОЛОБ,

ТОГО В ГРОБ!

Тухлые на площади до того развоевались, что приходилось опасаться, как бы они не бросились громить крутых и не стерли их в яичный порошок.

Но тут в дело вмешался начальник полиции — очень неглупое сырое яйцо, не лишенное чувства справедливости.

Начальник полиции попросту слегка подтолкнул бургомистра, прислонившегося к перилам балкона. И Адольф Бякжелток, тоже сырое яйцо, онемев от изумления, кувырнулся через решетку балкона и, к великому ужасу расступившихся перед ним тухлых яиц и яиц с пятнами, кокнулся о булыжник мостовой. Вот тут‑то всем и стало ясно, какая темная душа была у этого типа — растекшийся по мостовой желток оказался черным.

В первый момент все застыли на месте от испуга. Этот‑то момент и использовал начальник полиции. Он взревел громовым голосом:

— Расходитесь! Расходитесь! Всех, кто не выполнит приказа, мои подчиненные пристукнут ложкой!

Последняя фраза была попросту враньем. Его подчиненные были так же растеряны, как и все остальные горожане. Но угроза помогла — тухлые яйца, по натуре трусливые, оставшись без вождя, раскатились кто куда. Не прошло и минуты, как площадь опустела.

Дальше события в Яйцеграде разворачивались как нельзя лучше. Начальник полиции временно принял на себя обязанности бургомистра, а затем был избран новый городской магистрат, и не кто иной, как господин Тверджелток, прошел большинством голосов в бургомистры. Неделю спустя он объявил с того же самого балкона, с которого недавно слетел Адольф Бякжелток:

— Все яйца, будь то сырые, всмятку или крутые, имеют одинаковые права и обязанности. Каждый, кто попытается столкнуть друг с другом или натолкнуть друг на друга яйца различных видов, будет наказан семью ударами большой городской ложки и изгнан из города. Этот закон принят городским магистратом единогласно.

Госпожа Тверджелток, ныне жена бургомистра, заявила в этот великий день своему мужу:

— В конце концов всегда побеждают крутые!

— Ошибаешься, дорогая, — поправил ее господин Тверджелток, — ты впадаешь в ту же ошибку, в которую впал Бякжелток. Он считал, что крутые хуже всех остальных яиц. А ты считаешь, что они лучше всех. И то и другое — тупость. Не забывай, что Бякжелтка столкнуло с балкона сырое яйцо. Не крутые побеждают, дорогая, а правда и разумная твердость.

Ну, может ли быть у истории более счастливый конец?

Пока прадедушка рассказывал, печка прогорела и в комнате стало довольно холодно. Но я не решался подбросить угля, боясь его перебить. Теперь я поднялся было с дивана, но прадедушка удержал меня:

— Лежи, Малый! Я и сам могу подкормить печку, не слезая с каталки. У меня уже есть в этом кой‑какая сноровка.

Он и правда подколесил к печке, подбросил в нее угля, отряхнув руки, снова подкатил к столу и спросил:

— Ну как, Малый, встретился тебе в Яйцеграде какой‑нибудь герой?

— Начальник полиции, да, прадедушка? Который столкнул бургомистра с балкона?

— Что ж, в решительный момент он действовал как надо, Малый. Но не потому ли, что понимал, что сила на стороне крутых? А вообще‑то крутые держались отлично — не поддались панике, не сдались. Стойко держались. А стойкость — черта героическая.

— А правильно ли это, прадедушка, что убили Бякжелтка? Яичко упало и разбилось… Но ведь на самом деле это убийство!

— Да, Малый, убийство. Но если как следует вдуматься, это была вынужденная самооборона. Если бы Бякжелтка не кокнули, погибли бы десятки, а может, и сотни яиц. Ведь тухлые уже ревели на площади: «Кто крутолоб, того в гроб!»

— А разве не могло случиться по‑другому, прадедушка? Вдруг бы убийство Бякжелтка вызвало взрыв тухлых яиц и повлекло за собой разгул преступлений?

— Да, Малый, и это могло случиться. Я мог бы нарисовать тебе и такую картину. Но ведь рассказы‑то мои! А я предпочитаю чуть‑чуть обгонять действительность, подавать ей пример — я хоть и не скрываю, сколько на свете тупости, но в конце концов у меня всегда побеждает разумная твердость.

— И ты еще не придумал ни одной истории, в которой победила бы тупость, прадедушка?

— Что‑то не припомню, Малый. Вот помню только одно стихотворение, где тупость наказывается смертью. Хочешь, прочту?

— Конечно, хочу!

Старый, как всегда, немного подумал, а потом стал читать наизусть:

###### Песня о бравом солдате

На свете жил солдат

С винтовкой за плечом,

В мундирчике с иголочки,

С зеленым вещмешком.

«Тяжел солдатский труд —

Во Францию шагая,

Всё чищу, чищу, чищу, тру

Два черных сапога я».

Он чистил сапоги

В Гааге, в Праге, равно

Как в разных городах других,

Проворно и исправно.

По множеству дорог

(По Венгрии, Италии…)

Он шел за парою сапог

Все далее и далее.

Нередко получал

Солдат ногой пинок,

А на ноге сиял

Начищенный сапог.

Но отвечал солдат

(И брал под козырек):

«Да‑да, так точно, виноват!» —

И снова за сапог.

А девушка, его любя,

Сказала: «Сбрось мундир!

Давай‑ка спрячу я тебя,

А там наступит мир!»

Но отвечал солдат:

«Я рад бы наутек,

Да как же будет лейтенант

Без чищеных сапог?»

Да, более всего

Ценил он блеск сапог,

Пока не ранила его

Шальная пуля в бок.

Тогда сказал солдат:

«Увы, мой пробил час!

И мне каюк, как говорят,

И бог меня не спас!»

Ах ты солдат, солдат,

Погиб из‑за сапог!

И сам, бедняга, виноват,

А вовсе и не бог!

Выслушав «Песню о бравом солдате», я спросил:

— Разве не почетно умереть за наше отечество?

— О господи, откуда такая премудрость? — удивился прадедушка. — За какое же это отечество ты хочешь умереть? А знаешь ли ты, что наш остров долгое время принадлежал Дании? А потом больше ста лет — Англии? И только несколько десятилетий как стал немецким? Теперь я германский подданный, а рожден был английским подданным. Твои прапрапрадедушка и прапрапрабабушка были датчанами. Моя прабабушка была полькой. За какое же из этих отечеств ты хочешь почётно умереть?

— В нашей хрестоматии есть раздел про войну, прадедушка, — сказал я, немного оробев, — там, в самом начале, написано, что сладостно и почётно умереть за отечество.

— Во всяком случае, это гораздо проще, чем жить для отечества, — проворчал Старый.

Я видел, что мой прадедушка, обычно решавший все вопросы хладнокровно и спокойно, впервые вышел из себя. Я заметил даже, хотя и не придал тогда этому особого значения, что губы у него посинели. Немного успокоившись, он добавил:

— Конечно, Малый, почетно освободить свое отечество от тирана или защитить от врага, который хочет его поработить. Тот, кто умирает ради свободы отечества, умирает с честью и славой. Но в том, что смерть сладостна, Малый, безразлично, во имя чего, в этом я позволю себе усомниться. Смерть не бывает сладостной. Какие же рассказы помещены в твоей хрестоматии под таким эпиграфом?

— Рассказы про войну, прадедушка. Мне запомнился только один, под названием «Рождественская елочка на ничейной земле».

— Что? — взволнованно воскликнул прадедушка. — Эта бледная тень рассказа до сих пор еще бродит привидением по вашим хрестоматиям? Ну‑ка, ну‑ка прочти‑ка мне этот рассказ, Малый! Где хрестоматия?

— Она лежит там, в южной комнате. Принести ее?

— Нет, лежи, лежи! Я съезжу за ней на каталке. Погоди‑ка минутку!

Старый толкнул дверь своим креслом и покатил по чердаку с оглушительным грохотом. И тут же снизу раздался голос Верховной бабушки:

— Да что это вы вытворяете там наверху?

— Запасаемся литературой, Маргарита! — крикнул в ответ Старый.

На это из глубин дома последовало какое‑то замечание, которого я не разобрал. Но насколько я знаю мою Верховную бабушку, наверняка какое‑то мудрое изречение насчёт грохота и литературы.

Прадедушка запасался литературой недолго — он тут же прикатил назад с хрестоматией. Ему явно не терпелось услышать рассказ про рождественскую елочку.

— Ну‑ка найди‑ка его поскорее, — сказал он, подавая мне книгу.

Поискав в оглавлении, я нашел страницу, на которой был напечатан рассказ, и начал читать:

###### РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЁЛКА НА НИЧЕЙНОЙ ЗЕМЛЕ, ИЛИ СЛАВНЫЙ ГЕРОЙ

Двадцать четвертое декабря 1917 года. Рождественская ночь опустилась на напоенные кровью равнины Франции. Но там, где лежал в окопе обер‑ефрейтор Манфред Корн, рождественская ночь так и не наступила. Там не стихал ураганный огонь французских орудий калибра 8,8 см.

Манфред Корн празднично украсил маленькую елочку. Теперь, когда он смотрел на неё, перед его внутренним взором возникала убогая каморка на северной окраине большого города Берлина. Здесь сидит сейчас одинокая пожилая женщина и думает о своем сыне, воюющем в далекой Франции. Манфред Корн вспоминал под ураганным огнем свою мать и все те праздничные рождественские вечера, в которые она дарила ему из своего скудного заработка белошвейки какую‑нибудь милую мелочь — пару шерстяных носков, новенький галстук или белую рубашку.

— Манфред! — вернул Манфреда к действительности его товарищ по оружию, отважный парень исполинского телосложения, уроженец Вестфалии. — Манфред! Не раскисай! По ту сторону фронта алжирцы! Они нехристи и не признают рождества. Уж сегодня они зададут нам перцу! Надо быть начеку!

— Да, друг, — ответил ему Манфред Корн, всё еще погруженный в свои мысли. — Они язычники, эти бедняги алжирцы. Они никогда не слыхали о рождественской елке. Но может быть… — Глаза Манфреда Корна вдруг загорелись. — Может быть, друг, надо принести им эту елку?

— Что ты мелешь? — удивился вестфалец. — Принести елку? Кому?

Но Манфред Корн его уже не слушал. Его словно вела какая‑то внутренняя сила. Он поднялся и, держа обеими руками нарядную маленькую елочку, выпрыгнул, несмотря на грохот разрывающихся снарядов, из окопа. И вот он, с елочкой в руках, зашагал к вражеской линии обороны, невзирая на смертоносные пули, которые так и свистели вокруг его головы. Но все пули чудом пролетали мимо. Шагая с рождественской елкой, он чувствовал себя в безопасности. Не обращая внимания на пули, он храбро шел всё вперед и вперед.

Чудо рождественской ночи свершилось и на этот раз — двадцать четвертого декабря военного 1917 года. Вражеская артиллерия, обслуживаемая язычниками, вдруг смолкла. Когда Манфред Корн бережно поставил рождественскую елочку на ничейной земле и зажег на ней свечи, далее сердца язычников были согреты ее сиянием.

А в немецких окопах, из которых с удивлением и волнением следили за героическим подвигом обер‑ефрейтора Манфреда Корна отважные солдаты, зазвучала песня — наша рождественская немецкая песня: «Тихая ночь, святая ночь…»

Пока я читал, прадедушка все время сидел согнувшись, словно у него болел живот. Теперь он спросил:

— Ну что, может, тебе понравилась эта история?

— Не знаю, как бы тебе сказать, прадедушка. Это вроде истории про чудо… Только тут больше сиропа, чем чуда.

Старый рассмеялся:

— Ты попал в точку, парень! В рассказе слишком много сиропа. А потому этот так называемый Манфред Корн не живой герой, а картонный. Картонная марионетка на ниточках, за которые дергает сочинитель нравоучительных историй. Вообще‑то, Малый, я эту историю знал и раньше.

— Зачем же было ее читать, прадедушка?

— Чтобы ты сам почувствовал ее фальшь, Малый! А теперь я тебе расскажу, как было дело — тогда, в рождество 1917 года. Слыхал я об этом от капитана одного буксира в Гамбурге. Он сам при сем присутствовал. Но эту историю сто раз потом перевирали во всяких нравоучительных рассказах, и она становилась всё слащавее и слащавее. Пришло время рассказать ее так, как было на самом деле.

Я захлопнул хрестоматию, и прадедушка, откинувшись на спинку кресла, стал рассказывать:

###### РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЁЛКА НА НИЧЕЙНОЙ ЗЕМЛЕ, ИЛИ НЕИСТОВЫЙ КОНДИТЕР

Было это в первую мировую войну во Франции. По одну сторону фронта лежал в окопах немецкий полк, состоявший главным образом из берлинцев, а по другую — французский, состоявший из алжирцев. 24 декабря 1917 года, в канун рождества, по обе стороны фронта молчали орудия. Это получилось как‑то само собой, без всяких предварительных переговоров.

Однако алжирцы, напротив которых находился берлинский полк, были магометанами и про рождество им ничего не было известно. А французское командование забыло их предупредить, что в этот день стрелять не положено. И алжирские артиллеристы бабахали по немецким окопам, как делали это изо дня в день. Просто по неведению.

Немецкий полк, возмущенный нарушением неписаного закона, палил в ответ.

Таким образом, хорошо налаженное уничтожение живых людей при помощи пороха, огня, металла и математики, называемое войной, продолжалось и в этот праздничный вечер.

А тем временем в одном из передовых немецких окопов берлинский кондитер Альфред Корницке готовил марципаны для своей роты. Окопчик, в котором он старательно крошил миндаль, был пока ещё довольно надежной защитой от снарядов вражеской артиллерии. Но разрывы их, то и дело сотрясавшие землю, здорово мешали кондитеру в его работе. Ступки, чтобы растолочь миндаль, у него не было, и ему приходилось крошить его остро наточенным штыком. Из‑за толчка во время взрыва он порезал палец, и теперь ему приходилось орудовать с неуклюжей повязкой на руке. А тут еще графин треснул от взрыва, и вытекло больше половины розового сиропа, добытого с таким трудом! Пришлось перелить остаток в консервные банки. Но хуже всего было то, что кондитеру постоянно приходилось опасаться за примус, потому что для изготовления марципанов необходим ровный огонь.

Как раз в тот момент, когда приземистый, толстенький Корницке поставил кастрюлю на примус, чтобы, медленно помешивая сладкую массу на огне, превратить ее в марципановое тесто, волна от разрыва упавшего поблизости снаряда вышибла у него из рук поварешку, пламя, вспыхнув, погасло, а кастрюля чуть было не перевернулась, и ее содержимое непременно бы выплеснулось, если б кондитер не поймал ее на лету, пользуясь своей повязкой вместо тряпки.

— Ну, с меня хватит! — заорал он, взбешенный тем, что все его старания чуть было не пропали даром. — Эти остолопы со своими хлопушками не питают уважения даже к труду высококвалифицированного пирожника!

— Помилуй, Альфред, — принялся унимать его один из солдат, — да откуда же им знать, что у нас рождество и мы готовим марципаны! Ведь они об этом и слыхом не слыхали!

А взрывная волна в это мгновение опять чуть было не перевернула кастрюлю вместе с ее драгоценным содержимым. И снова Альфред Корницке подхватил ее на лету.

— Ах, не слыхали? — взревел он в бешенстве. — Ошибаешься, дорогой! Розовый сироп‑то с Востока!

— А про рождество они ничего не знают, Альфред. В том‑то и беда!

Снова чудовищный взрыв, снова толчок, снова чуть не пропали даром труды высококвалифицированного пирожника.

Корницке больше не в силах был сдерживаться.

— С меня довольно, приятели! — крикнул он в направлении вражеских окопов. — Сейчас я поставлю на этом точку! Вернее, елку!

И прежде чем друзья его сообразили, в чем дело, неистовый кондитер, который даже здесь, на фронте, куховарил в пекарском колпаке, подхватил небольшую елку с укрепленными на ней свечками и, выпрыгнув из окопа, помчался в сторону вражеских позиций по полю, которое отлично просматривалось в эту звездную ночь и могло быть обстреляно в любую минуту.

Немецкие офицеры на наблюдательных пунктах глазам своим не поверили, заметив солдата в пекарском колпаке, бегущего к вражеским позициям с елкой в руках.

Полевые телефоны зазвонили, полевые телеграфы застучали, передавая азбукой Морзе невероятное сообщение с одного командного пункта на другой. Среди солдат, поймавших обрывки разговоров, возникли самые невероятные слухи и поползли по всей разветвлённой сети окопов. Единственное, что было достоверно во всей этой сумятице сообщений, вопросов, донесений, — это приказ командира полка немедленно прекратить артиллерийский огонь.

Необычайное происшествие произвело переполох по обе стороны фронта. Алжирские стрелки и артиллеристы не знали, что делать, — солдат в пекарском колпаке, несущий в руках дерево со свечами, не был предусмотрен ни уставом, ни служебными инструкциями. Это было явление слишком странное, чтобы открыть огонь, и слишком смешное, чтобы увидеть тут угрозу. И в Альфреда Корницке просто не стали стрелять. Алжирцы глядели на него в полной растерянности до тех пор, пока наконец во французских окопах не зазвонили телефоны и не застучали телеграфные аппараты. Только теперь алжирские артиллеристы с опозданием узнали о том, что боевые действия временно прекращены по случаю наступающего праздника. И прекратили огонь.

Надо сказать, что Альфред Корницке прошел уже довольно далеко вперед. Теперь он остановился примерно на середине нейтральной полосы, примял землю носком сапога, поставил на нее елку, спокойно достал из кармана кителя спички, приготовленные для разжигания примуса, и зажег одну за другой все свечи — ночь была безветренной и морозной.

Как раз в тот момент, когда вся елка празднично засияла, вражеская артиллерия прекратила огонь. Наступила неслыханная тишина. И в этой тишине прозвучал громкий голос Альфреда Корницке:

— Ну вот, коллеги! Теперь вам ясно, что происходит? Счастливого рождества!

Потом он зашагал назад, к немецким позициям, и спрыгнул в свой окоп, где друзья встретили его смехом и рукопожатиями.

— Когда полковник услышал о твоей вылазке, он сперва хотел отдать тебя под суд, — рассказывали они, — а теперь раздумывает, не представить ли к награде.

— Пусть даст мне доделать марципаны, — сказал кондитер.

Он поспешил к своей кастрюле, разжег примус и снова принялся помешивать густую сладкую массу, рассказывая обступившим его солдатам, что наверняка займется после войны обращением язычников в христианство.

— Уж теперь‑то я знаю, как это делается! — заключил он, весело подмигнув.

Елка на ничейной земле еще долго сияла огнями, что и дало прекрасный материал для рождественской проповеди фронтовым священникам.

Вот таким‑то путем рассказ о рождественской елке на ничейной земле и попал во многие календари и сборники нравоучительных рассказов, а неистовый кондитер Альфред Корницке превратился в благочестивого героя Манфреда Корна, которого на самом деле никогда и на свете‑то не было.

Все это прадедушка проговорил улыбаясь, и я, наверно, тоже улыбался, когда сказал:

— Этот Альфред Корницке со своими марципанами гораздо симпатичнее Манфреда Корна с его маленькой‑маленькой елочкой.

— Прежде всего, Малый, гораздо правдоподобнее, — заявил прадедушка. — У него хотя бы есть веская причина поставить елку на ничейной земле. Он хочет спокойно доделать свои марципаны. А обер‑ефрейтор Корн — герой дутый, выдумка, которая превращается в дым, как только подойдешь поближе.

Старый хотел, видно, распространиться поподробнее насчет дутых героев, но в это время на лестнице явственно послышались шаги. Сомнений у нас не было — на чердак взбиралась Верховная бабушка.

Она и в самом деле уже входила в дверь с подносом, на котором стояла миска с супом и две тарелки.

— Раз дети настолько безрассудны, что скачут на одной ножке после операции, приходится хоть взрослым не терять разума, — сказала она. — Ешьте здесь, наверху, пусть Малый не встает. Приятного аппетита!

Не сказав больше ни слова, она ушла, а мы принялись за суп с фрикадельками. Ну и вкусный же это был суп!

Я наелся, боль в пятке у меня утихла. Вот сейчас бы и посочинять стихи! Но прадедушка выглядел усталым, и у него всё еще были синие губы.

— Знаешь что, Малый, — сказал он, — поплетусь‑ка я вниз поспать. Как‑никак годы сказываются. Если хочешь заняться пока чем‑нибудь полезным, поразмысли‑ка насчёт собачьей жизни. Мало ли бедняг на свете ведут собачью жизнь. У них и сил‑то нет с голодухи. Как же они становятся героями? Может, тебе удастся сделать это открытие! Ну, пока!

Старый выкатил из чулана, и я услышал, как он, проехав по чердаку, начал с трудом спускаться по лестнице.

Пятка у меня совсем прошла, я поднялся, достал неначатый рулон обоев, разложил его на столе и стал писать. Слова прадедушки я понял буквально и решил написать про собачью жизнь бездомного пса — биографию дворняжки.

Часа в четыре — только я успел докончить рассказ — кто‑то стал взбираться по лестнице на чердак. Я быстро свернул рулон и спрятал его под диван. И напрасно! Это был прадедушка — вот он уже заколесил по чердаку в своём кресле.

— Ну как, написал? — спросил он, вкатывая в дверь.

— Задание выполнено, — ответил я. — Рассказ про собачью жизнь готов.

— Тогда прочти‑ка мне его, Малый. Интересно, что у тебя получилось.

Я вытащил рулон из‑под дивана, развернул его и прочёл:

###### СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ

Про человека нередко говорят: «Ведь не может он жить как собака!»

А как же быть бедной собаке, которой самой природой назначено вести собачью жизнь? Вот она и ведет ее. А уж как — лучше не спрашивать!

Проследим, например, историю жизни так называемой бездомной собаки. Возьмем беспородную дворняжку, увидевшую свет где‑нибудь за дощатым забором новостройки. Этот достойный всяческого сожаления собачоныш кормится в течение первого месяца своей жизни, плохо ли, хорошо ли, синеватым молочком своей матери. Предположим, что он остался в живых после того, как подохли пятеро его сестер и братьев. В какое‑нибудь хмурое воскресное утро ватага ребятишек загонит его на окраину города, и потом он уже никогда не найдет дороги назад. Побродив некоторое время, он доберется до ближайшей деревеньки, где и люди‑то живут не лучше собак.

Здесь крестьянин приманит его на свой двор костью, схватит за шкирку и привяжет на веревку у своего крыльца.

— Будешь охранять дом от воров, — скажет он псу. — Может случиться, ты и не поешь досыта, но с голоду не подохнешь. Как говорят, по одежке протягивай ножки, даже если это не ножки, а лапки.

Хорошо еще, если пса в первый раз привязывают на веревку летом, и ему приходится в теплую пору сносить голод, крутой нрав хозяина и проделки деревенских мальчишек.

Но однажды ночью, когда уже зима на дворе, пес, натерпевшись за день, уснет так крепко, что не услышит вора. А вор этот стащит у хозяина из погреба последний окорок. Ничего удивительного, что тот придет в бешенство и сорвет свой гнев на собаке.

А на другую ночь ударит сильный мороз. У голодного, избитого пса нет даже будки — спрятаться от ветра. И вот с яростью, порождённой отчаянием, он впервые восстаёт против этой собачьей жизни. Он перекусывает своими уже сменившимися, крепкими зубами веревку, за которую привязал его этот мучитель, и носится всю ночь по полям, по лесам, по замерзшему пруду — тоненький ледок не проваливается под тяжестью отощавшей собаки.

Следующее утро застает пса в городе. Он блаженно спит под высоким навесом большого рынка, возле мусорной кучи. Впервые в жизни он наелся досыта.

Он просыпается после полудня, зевает и потягивается и чувствует себя сытым и сильным. Он не видит ничего удивительного в том, что барышня‑пудель, с бантиком на кудряшках, относится к нему весьма благосклонно, невзирая на его грязную шерсть и лапы, и весело бегает вместе с ним, обнюхивая ближние столбики, пока не появится полная дама в меховом манто и не позовет ее в ужасе к себе, чтобы пристегнуть к ее ошейнику красный поводок с золотыми застежками и утянуть за собой.

Это, конечно, огорчает пса, но не наносит еще смертельного удара его пробудившемуся чувству собственного достоинства. Прощальный лай вдогонку юной пуделице — и вот он уже с гордо поднятой мордой шествует в город. Он так занят самим собой, что для опытного собачника Казимира Клапшу нет ничего проще, чем с быстротой молнии набросить ему на шею цепь и втолкнуть его в крытую машину к другим пойманным собакам. Рев мотора старенького автомобильчика заглушает яростный лай пленника.

Следующие два дня пес проводит в тесном длинном бараке на окраине города. Однако Казимиру Клапшу не так‑то легко с ним справиться. Пес больше не хочет ползти на брюхе и поджимать хвост. Он кусается и лает, не слушается плетки и удирает на третий день, как только собачник приоткрывает дверь барака, чтобы покормить собак.

Он снова спасся от злой судьбы, но, увы, чтобы тут же попасть в ее лапы. Поскольку он не умеет читать (эта беда у него общая со всеми другими собаками, в том числе и высокопоставленными), он не обращает внимания на объявление, которое гласит: «В собак, преследующих дичь на этом участке, будут стрелять без предупреждения».

Забежав на этот столь опасный для его жизни участок, пес видит вдруг впереди удирающего зайца. И тут у него просыпается охотничий инстинкт. Он несется за зайцем, чувствует себя наверху блаженства (хотя заяц, петляя, всякий раз оставляет его в дураках), он ощущает прилив сил, вдыхает воздух свободы, втягивает его своим чутким собачьим носом. «Вот это жизнь!» — думает он, летя вслед за зайцем по сжатому полю… Но как раз в то самое мгновение, когда пес впервые находит, что жизнь на земле прекрасна, лесничий поднимает ружье, целится, стреляет и попадает в цель.

Так заканчивается собачья жизнь — где‑нибудь в поле, когда на дальней башне бьет семь и высокопоставленные собаки лениво подходят к своей миске с мясным супом.

…Дослушав рассказ, прадедушка даже захлопал в ладоши.

— Отлично, Малый, — сказал он, — ты докопался до самой сути! Понял, как тот, кто ведет собачью жизнь, обнаруживает в себе запас героизма. Стоит ему вдохнуть воздух свободы, и он напрягает все силы, чтобы разорвать путы. А ты заметил, Малый, что мы с тобой сегодня весь день говорим про тиранов и про тех бедняг, которым приходится защищать от них свою жизнь?

— Конечно, заметил, прадедушка. Это как‑то само собой получается — каждый день своя тема. Вот и завтра — ведь мы хотели сочинять стихи и рассказы про памятники.

— Ну да, Малый! Значит, у нас и на завтра есть тема. Видно…

Ему не удалось договорить, потому что к нам пришел гость. Он уже стоял в дверях. Это был мой Низинный дедушка с кудрявыми черными волосами.

— Я помешал? — спросил он.

— Такой редкий гость, как ты, Якоб, не может помешать, — улыбаясь ответил прадедушка.

— Но ведь вы, если не ошибаюсь, сочиняете? Я могу посидеть внизу и через часок зайти снова. Женщины там говорят про новогодние подарки. Может, я и подам им какую‑нибудь идею.

Мы принялись уверять его, что он нам ничуть не мешает и зря даже думает, что мешает. Пусть входит и садится.

— Мы уже обсудили нашу тему, Якоб, и все, что только можно было, сочинили, — сказал прадедушка.

— Какую же это тему? — спросил дедушка.

— Великие и малые мира сего, господа и рабы, тираны и их подданные.

— Жаль, я опоздал послушать, — с огорчением сказал дедушка.

Старый в раздумье тихонько покатывался в своем кресле взад и вперед.

— Н‑да, — сказал он наконец, — так вот, Якоб, один стишок на эту тему у меня еще есть в запасе. Вернее, басня. Правда, я придумал ее несколько лет назад… Но могу прочесть.

— Прочти, непременно прочти, — попросил Низинный дедушка, — ты ведь знаешь, я тоже, случается, сочиняю, хотя и не такой мастер по этой части.

Этот лестный намек подстегнул Старого. Он задумался, припоминая басню, а потом прочел ее вслух:

###### Медведь и муравьи

Вот решил доказать толстопятый

Муравьишкам и муравьятам,

Маленьким, юрким, живучим,

Деловым, суетливым, ползучим

(Чтоб они разнесли на весь лес),

Что велик, ох, велик его вес.

И с пыхтением и сопением,

Потоптавшись над их строением,

Где они торопливо тащили,

Помогали, несли, грузили,

Он уселся, старый затейник,

Прямо задом на муравейник.

Как заскребся вдруг косолапый

И хлоп себя, хлоп себя лапой!..

Ой, как хлопотно, больно, досадно!

С ними дело иметь накладно.

Как ни странно, они сильны —

Потому что они дружны.

Разодрав себе шкуру когтями,

Он, отважными муравьями

Побеждённый в неравной борьбе,

Потащился в берлогу к себе,

Исцарапан, исколот, искусан,

И тогда намотал на ус он:

Кто весом великим кичится

И на муравейник садится,

Стремясь оказать давление

На стотысячное население,

Тот потом заревёт на весь лес:

«Ох, зачем я сюда полез?»

Выслушав басню прадедушки, Низинный дедушка сказал:

— Вы, поэты, вечно выдумываете всякие красивые и умные истории, в которых правое дело торжествует. А вот как обстоит в жизни с маленькими людьми, с угнетёнными и униженными? Не старается ли иной из них подольститься к сильным мира сего, чтобы получить от них чуть побольше, чем получил его сосед? Безразлично чего — хлеба, денег, пенсии. Всегда ли они держатся вместе? Всегда ли дружны и едины?

— Ты прав, Якоб… — вздохнув, ответил прадедушка. — Иногда и в самом деле проходили целые десятилетия, а бедные люди не оказывали насилию никакого сопротивления. Но между тем появился новый сорт героев, Якоб. Это началось с графов, ставших социалистами…

Низинный дедушка рассмеялся и сказал:

— Вот то‑то и плохо у вас, поэтов, что вы умеете любые свои фантазии подкреплять примерами из жизни!

— Поэты, — рассмеялся в ответ прадедушка, — просто чуют всё заранее. И что будет с человечеством — тоже. Они угадывают завтрашних героев!..

Но тут нас позвали вниз ужинать. К нашему удивлению, вся семья была в сборе: мои родители, братья и сестры, Низинная бабушка и Низинный дедушка, Верховная бабушка, прадедушка и я.

Причину этого сборища мы, Старый и Малый, поняли только тогда, когда увидели, что в гостиной стоят цветы и повсюду лежат свертки с подарками. Тут мы вдруг вспомнили, что у Верховной бабушки незадолго до Рождества день рождения.

Никто нам об этом не сказал, потому что все думали, что мы давно уже ее поздравили. Мы устыдились, рассеянные поэты, и, улучив момент, удалились в спальню Верховной бабушки, где и сочинили совместно поздравительное стихотворение. Затем мы проковыляли назад в гостиную, и прадедушка, сев за стол, постучал ложкой по своей рюмке.

Когда все умолкли и поглядели на него с любопытством, он указал на меня и заявил:

— Сейчас Малый от имени поэтов преподнесет подарок ко дню рождения!

Я встал и прочел:

###### Песнь во славу Верховной бабушки

Кто вечно ворчит и брюзжит беспрестанно?

Кто рано встаёт, а ложится не рано?

Хромые поэты на чьем попеченье?

Кто топит им печь и печёт им печенье?

Чье мужество будет достойно воспето?

Верховная бабушка! Многая лета!

Кто сам той же выпечки, что и герои?

Кто в бурю стоять остаётся горою?

Кто, право же, право, не робкого нрава?

Верховная бабушка! Бабушке — слава!

Кому в этом доме поэты подвластны?

Чей гнет потерпеть они всё же согласны?

Кто их опекает от света до света?

Верховная бабушка! Многая лета!

Кто вечно ворчит и бранит их так грубо?

Кого прославляют литавры и трубы?

Кто здесь верховодит и правит по праву?

Верховная бабушка! Бабушке — слава!

Раздались дружные аплодисменты. А Верховная бабушка, приложив платок к глазам, пробормотала:

— Сперва эти негодяи вообще забывают про день рождения, а потом приводят человека в такое смущение. За что только господь бог наказал меня двумя поэтами?

— За острый язык! — рассмеялся прадедушка и тем самым дал Верховной бабушке повод спрятать платок и опять перейти на бодрый язвительный тон.

Когда я, перед тем как отправиться спать, пожелал Верховной бабушке спокойной ночи и даже, в виде исключения, поцеловал ее при этом, она сказала:

— Спокойной ночи, маленький поэт! Только смотри никогда больше не смущай меня такими стихами.

— Честное слово, не буду! — ответил я. — К следующему дню рождения подарю тебе букет чертополоха!

## *Пятница,*

*в которую моему прадедушке нездоровится, а мы с Джонни Флотером отправляемся в гости к тете Юлии. Речь здесь пойдет о памятниках всяких видов; кроме того, здесь восхваляется некий герцог Оскар, который не нуждался в героях. Здесь заговорит даже камень. Итак,*

###### ПЯТНИЦА

Пятница началась грустно, потому что врач остался недоволен здоровьем прадедушки. Он прописал ему сердечные капли и посоветовал полежать денёк в постели или хотя бы не вставать до обеда.

Старый выбрал второе и стал, лежа в постели, листать альбом памятников. Меня он послал погулять, заметив, что и поэтам не мешает иной раз размять ноги.

И вот я заковылял рядом с моим другом Джонни Флотером под ледяным ветром по возвышенной части острова. Мы рассматривали разукрашенные витрины магазинов. Уже начались рождественские каникулы, и теперь я мог спокойно выходить на улицу, не рискуя прослыть прогульщиком.

Когда лица наши раскраснелись от мороза и мы, несмотря на теплые свитеры, продрогли на ветру, мы завернули в гости к тете Юлии, у которой всегда было тепло. Эту жизнерадостную пожилую даму все на острове называли тетей, хотя она, собственно говоря, никому тетей не приходилась.

Возле двери ее дома висел звонок с гипсовой рукой, за которую надо было потянуть, а под ним была прибита картонка с надписью:

Зандман Овербек — звонить 1 раз.

Юлиана Овербек — звонить 17 раз.

Шарик Овербек — лаять 1 раз.

Зандман был мальчик нашего возраста, которого тетя Юлия взяла себе вместо сына. Он был найденыш. Его нашли грудным ребенком на берегу, на песке, завернутого в рыбачью робу.

А Шариком звали собачку тети Юлии, маленький длинношерстый комочек с завитушками, свисающими на глаза, — не поймешь, где зад, где перед.

Зандман, отлично справлявшийся с хозяйством в доме тети Юлии, открыл нам дверь, потому что мы позвонили только один раз. Проводив нас к тете Юлии в так называемую Голубую комнату, он тут же снова скрылся на кухне вместе с Шариком, а мы сняли свитеры и, как всегда, получили подогретого красного вина с пряниками.

— До меня дошли слухи, — сказала мне тетя Юлия, — что вы, Старый и Малый, опять сочиняете. Верно это?

Я ответил, что да, верно, но очень удивился, откуда про это знает весь остров.

— Не весь остров, — возразила тетя Юлия, — а только те, кто интересуется такими вещами. Могу поспорить, что Джонни не имеет об этом ни малейшего представления. Правда ведь, Джонни?

Джонни Флотер кивнул, но тут же добавил:

— Малый сегодня опять рассеян, словно профессор. Я сразу догадался, что они опять там чего‑то сочиняют.

— А разве, когда сочиняешь, становишься рассеянным? — удивлённо спросила тетя Юлия.

— Еще как! — присвистнул Джонни. — Один раз я хотел устроить с Малым бег наперегонки задом наперед, а он вдруг увидел каштан. Ну и все! Стал ни на что не годен. Только и твердит про каштан, а когда ему что‑нибудь говорят, вообще ничего не слышит.

— Ага! — воскликнула тетя Юлия. — Теперь я понимаю, как это получается. Когда поэты что‑нибудь выдумывают или обдумывают, они не видят и не слышат, что происходит вокруг. В сущности, это не рассеянность, Джонни, а как раз наоборот — пристальное внимание, сосредоточенность на одном деле.

— Возможно, — пробормотал Джонни Флотер. Сложные процессы, происходящие в головах поэтов, как видно, не слишком его интересовали. Он был земным человеком, а потому и внес предложение сыграть в лото «Братец, не сердись».

Тетя Юлия охотно согласилась поиграть с нами, но то и дело вновь принималась меня расспрашивать, про что же мы с прадедушкой сочиняем. А узнав, что мы собираемся писать баллады и рассказы про памятники, почему‑то пришла в полный восторг.

— Не забудьте, — сказала она, — что памятники — это не только то, что стоит на постаменте, Малый! На свете есть много всяких памятников. Например, монета или надгробие. Или дом, или герб, или просто камень, напоминающий о каком‑нибудь событии. Даже созвездие может быть памятником. Не упустите это из виду, когда будете сочинять!

Это замечание тети Юлии дало толчок моим мыслям. Я играл все рассеянней и делал глупейшие ошибки. Джонни Флотер так разозлился, что под конец швырнул игральную кость на стол и крикнул:

— Я больше не играю! Малый вообще отсутствует!

Я не успел еще оправдаться, как тетя Юлия сказала:

— Малый, если я не ошибаюсь, думает о памятниках. Верно?

Я кивнул и объяснил, что виной всему замечание тети Юлии про разные памятники.

— Мне это очень лестно, — улыбнулась старая дама. — Знаешь ли, Малый, каждой женщине хочется хоть раз в жизни стать Музой — вдохновить поэта на какое‑нибудь стихотворение.

— Только не моей Верховной бабушке, — уточнил я. И вдруг вспомнил, что обещал не опаздывать к обеду.

Я взглянул на часы, тикавшие в углу, и увидел, что могу еще успеть в последнюю минуту. Поэтому я извинился, поспешно натянул свитер и захромал в направлении Трафальгарштрассе. Голова моя была переполнена идеями про всякого рода памятники.

Я поспел как раз вовремя, чтобы пообедать с Верховной бабушкой. Сегодня, как и каждую пятницу, она варила на обед сушеную рыбу. Прадедушка ел в постели. Но после обеда встал и начал медленно взбираться по лестнице на чердак, чтобы вместе со мной подумать насчёт памятников.

Как только мы устроились в южной комнате — Старый в каталке, я на оттоманке, — я тут же принялся объяснять прадедушке, что памятники бывают всякие. Но он, оказывается, и сам уже это сообразил, перелистывая альбом.

— Даже прядь волос может оказаться памятником, — сказал он, — и иной раз более значительным, чем бронзовая конная статуя огромной величины. Я нашёл в альбоме две любопытные надгробные надписи и списал их.

Он вытащил из кармана газету, на полях которой было что‑то записано.

— Одна из этих эпитафий — из Берлина. Там в Тиргартене бесчисленное множество памятников разным знатным лицам — из камня и бронзы. И на одном из них, изображающем какое‑то высокопоставленное ничтожество, берлинцы нацарапали вот этот стишок…

Старый заглянул в свою газету и прочел:

###### Эпитафия знатному вельможе

Сей памятник нам всем сегодня

Того вельможу заменит,

Что взят был в рай иль в преисподню,

Ничем таким не знаменит.

Да! Выпить он любил, по слухам.

Земля ему да будет пухом!

— Видно, этот вельможа не тянул на памятник, — рассмеялся я.

— А вот один каменщик, наоборот, очень даже тянул, только никто ему памятника не поставил. Послушай, какая надпись вырезана на его деревянном могильном кресте!

Он снова заглянул в газету и прочел:

###### Эпитафия каменщику

Под этой плитою могильной

Покоится каменщик Тик.

Любил запивать он обильно

Пивом сосиски и шпик.

Он спас благородного Фоха,

Когда тот с моста сиганул.

Тот Фох всё живет, и неплохо,

А Тик‑то в реке утонул.

Тут разговор у нас перешел на то, кто заслуживает памятника, а кто нет, и говорили мы очень долго.

— Одно, во всяком случае, ясно, — сказал в заключение прадедушка, — ещё не всякий, кому воздвигают памятник, герой. И не всякому герою ставят памятник. Сегодня утром в постели я написал две баллады, они тебя в этом убедят. Но сперва мне хотелось бы послушать ту балладу, которую ты сочинил вчера. Я знаю, она записана в альбоме, но я не стал ее читать. Хочу услышать от тебя самого. Ну‑ка прочти!

Я положил тяжелый альбом на колени, раскрыл нужную страницу, заложенную спичкой, и прочел:

###### Баллада о короле и девочке

Жил‑был король на свете,

Угрюм и нелюдим,

И знали даже дети,

Что шутки плохи с ним.

Раз дал он повеленье

На рынке городка

Повесить объявленье:

«Два красных узелка!»

Ищите, мол, подарки:

Завязаны в платок

Часы отличной марки —

Вот первый узелок.

Другой — того же цвета,

В нем слиток золотой.

На вид находку эту

Не отличишь от той

И что в ней — не узнаешь.

А замысел жесток:

Часы ты поднимаешь —

Взорвется городок.

Но кто поднимет слиток

В платочке красном, тот

Получит графский титул

И городок спасет.

А горожане что же?

Пустились наутек —

Им золота дороже

И жизнь, и городок!

Вот из дворцовых окон

На город Хартестольт

Король глядит в бинокль…

А город‑то пустой!

И вдруг бежит вприпрыжку —

Он очень удивлен! —

По улице малышка —

Волосики, как лен.

Встревоженный немножко,

Король глядит ей вслед

(А звали эту крошку

Мари‑Элизабет)

И видит: вот нагнулась

И красный узелок

Взяла, и улыбнулась,

И дергает платок…

Король сидит не дышит,

Бинокль упал из рук…

Но взрыва он не слышит,

А слышит сердца стук.

Бинокль он поднимает,

Навел на городок:

Нет, слиток вынимает

Завязанный в платок,

И катит по дорожке,

Бежит вприпрыжку вслед

И хлопает в ладошки

Мари‑Элизабет.

И ножкою толкает

В ручей его — плих‑плюх!

Король коня седлает

И скачет во весь дух

По склону, по долине…

С коня слезает он:

«Привет тебе, графиня!» —

Отвесил ей поклон.

Та, носик задирая,

Мгновенно входит в роль

И говорит, играя:

«Привет тебе, король!»

И на коня девчушку

Сажает он: «Оп‑ля!

Гляди‑ка, вся в веснушках,

А учит короля!»

И вот уж в замок скачут

Они из городка.

Что эта сказка значит —

Задумайся пока!

— Очень мило, Малый! — сказал прадедушка, когда я кончил читать. — Король развлекается, ставит жестокий опыт над своими подданными. Но когда в ловушку попадает эта малышка, его самого страх берет от своей же затеи. Девочка спасает город — это тоже хорошо. Она заслуживает памятника. И все‑таки она не героиня. Ведь она действовала просто по незнанию. А герои знают, что делают и на что идут.

— А у тебя в балладе герой…

— Ну уж он‑то знает, что делает, Малый. Хоть он и не герой!

— Как так не герой?

— А вот послушай!

И, развернув бумажную салфетку, исписанную с обеих сторон, он прочёл:

###### Баллада про герцога Оскара Доброе Сердце

Стоит в Гумберштадте памятник тот —

Герцог Оскар Великий.

Его из‑за мельницы помнит народ

Для тмина, перца, гвоздики.

Но в хрониках мы ничего не найдем,

Чем мог бы он похвалиться, —

Поставил лишь мельницу в крае родном

Для перца, тмина, корицы.

Какой весельчак за бутылкой он был,

Свой парень и доброе сердце!

Какую он мельницу соорудил

Для тмина, гвоздики и перца!

Без шума сражений, без долгой войны

Сумел процветанья добиться

Родной стороны, потому что нужны

Всем перец, тмин и корица.

Всеобщий любимец — хоть и не герой…

Но вот о чем эта баллада:

Народу полезней правитель порой,

С которым героев не надо.

Я захлопал, потому что мне очень понравился и сам этот герцог Оскар, и стихи прадедушки.

— Чудно только! — сказал я. — Мы с тобой целые дни говорим про героев, а теперь вот радуемся: наконец‑то хоть кто‑то повернул дело так, что герои оказались совсем не нужны!

— Это, Малый, легко объяснить. Героизм рождается там, где есть опасность. Если бы на свете не было опасностей, героизм был бы ни к чему. Но их, увы, великое множество, а потому герои будут всегда. Обойтись без героизма можно, только всякий раз обходя опасность. Есть, конечно, люди, которые всегда умеют ловко ускользнуть от неё, увернуться, да вот хорошо ли это? И, главное, надолго ли это помогает?

Взгляд прадедушки случайно упал на тетрадку в клеёнчатой обложке, и он продолжал:

— Иногда в жизни надо уметь решиться, даже если это нелегко. Почти каждый герой, прежде чем совершить подвиг, волен был решать, пойдёт он на него или нет. Вот и Гераклу пришлось однажды выбрать себе судьбу. И он, поразмыслив, выбрал судьбу героя.

— Да разве это только Геракл, прадедушка? Ведь, наверно, каждый человек должен в один прекрасный день решить, что он выбирает.

— Конечно, Малый, — ответил прадедушка. — Тем‑то и хорош Геракл, что похож на каждого человека, только как бы возвеличенного до полубога. Вот почему множество сказаний о героях повторяют, больше или меньше видоизменяя, его многочисленные подвиги. Не зря я так часто его вспоминаю. Уж кто‑кто, а он заслужил свой памятник.

— Какой такой памятник, прадедушка?

— Созвездие, Малый! Прекраснее памятника и не придумаешь. Созвездие Геркулеса. Так называли Геракла римляне.

Но тут на лестнице раздались шаги, и мы насторожились.

Впрочем, сегодня нам нечего было прятать — ни исписанных обоев, ни «Морского календаря» у нас не было. Дверь раскрылась, и на пороге, к нашему удивлению, появилась тетя Юлия с пухлой красной записной книжечкой в руках.

— Простите, я и сама знаю, что помешала, — сказала она. — Но я тоже написала рассказ про памятник, и мне так хотелось бы услышать мнение знатоков!

— Что ж, мы вас терпеливо выслушаем, тетя Юлия, — ответил Старый. — Да вы раздевайтесь, снимайте пальто!

Тетя Юлия была так взволнована, что снять пальто оказалось для нее делом почти непосильным. Я встал и помог ей выпутаться из заплетавшихся рукавов, и она тут же, сев рядом со мной на оттоманку, принялась листать свою записную книжечку.

Так как женщина она была очень милая, мы, поэты, изобразив на лице большую заинтересованность и набравшись терпения, принялись ее слушать.

###### ИСТОРИЯ КАМНЯ ПРЕТКНОВЕНИЯ

В одной отдаленной местности, метрах в ста двадцати от старой проселочной дороги, торчит из травы гладкий круглый горб. Это видимая часть огромного камня. Если бы камни могли говорить — а ведь наша фантазия вполне может заставить их говорить, — вот как рассказал бы нам этот камень историю своей жизни:

«Я обломок песчаника. Уже много тысяч лет я лежу на этом месте и считаю его своей родиной. И хотя я нем, скромен и неподвижен, на меня всякий раз натыкаются и об меня спотыкаются разные звери.

Это началось с семейства звероящеров, которое по какой‑то неведомой мне причине пересекало здесь поле. Один звероящеренок в спешке не заметил меня, споткнулся и с ревом свалился в траву.

Остальные члены семьи тут же приостановили свой бег, вернулись к упавшему детенышу и, разузнав, что случилось, принялись оскорблять меня, невинный камень, в самых чудовищных выражениях. Оказалось, что их детеныш поранил о мой острый край лапу.

Прошли века — а может быть, и тысячелетия, — прежде чем дожди смыли с меня этот позор. За это время острые края мои обтесались, и я погрузился глубже в землю, что было мне очень по душе — ведь я совсем не люблю лежать у кого‑либо на дороге.

Следующее огорчение я пережил из‑за одного медведя, преследовавшего зайца. В пылу охоты он на бегу вдруг споткнулся об меня и даже проехался брюхом по траве.

И как только этот зверь меня не обзывал! Даже самому грубому и неотёсанному обломку скалы я не решился бы повторить эти оскорбления.

Терпеливо, как это свойственно нам, камням, выслушал я всё и даже не шелохнулся. Но хотя внешне я сохранял полное спокойствие, я был внутренне глубоко потрясен. Ещё столетия спустя я становился краснопесчаником от стыда, когда вспоминал, как обозвал меня этот медведь.

Но время лечит раны даже у камней. Вот уже более ста лет я лежу здесь, на поле, с округлившимся горбом и сглаженными краями в самом благодушном расположении духа.

По мне ползают улитки, на меня вскакивают зайцы, чтобы оглядеться по сторонам, и ложатся кошки, чтобы погреться на солнышке. Душевное равновесие вернула мне одна лошадь.

Дело было так. Более ста лет тому назад неподалеку от меня шло сражение. Я слышал крики, выстрелы, топот копыт, и вдруг несколько всадников в роскошных мундирах подскакали и остановились неподалеку от меня. Они внимательно наблюдали за ходом боя и всякий раз почтительно обращались к маленькому, полному человеку в седле, на лицо которого падала тень от большой шляпы. Его стройный конь нервно перебирал копытами. И вдруг он случайно наступил на мой горб и покачнулся. Всадник тоже покачнулся и чуть не вылетел из седла.

В этот момент пуля просвистела над головой коня. Эта пуля непременно попала бы во всадника, если бы он, покачнувшись вместе с лошадью, не отклонился в сторону.

Остальные всадники всполошились:

— Вас не ранило, сир?

Но маленький всадник, улыбнувшись, указал на меня и сказал:

— Этот камень, господа, заставил покачнуться моего коня и меня. И потому пуля пролетела мимо. Пусть этот случай вас научит, что иногда даже немой и безвестный камень может оказать помощь и принести пользу.

Тут остальные всадники сняли шляпы и закричали:

— Да здравствует Наполеон, император Франции!

Так я узнал, чей конь случайно ступил копытом на мой горб и кто был этот человек, защитивший честь незаметного камня.

С тех пор ни один медведь не может вывести меня больше из равновесия. Я ощутил свой настоящий вес и спокойно пронесу на моем горбу все тяготы новых тысячелетий».

После этого твердокаменного признания мы с прадедушкой втайне почувствовали себя пристыженными. Ведь мы со снисходительной улыбкой согласились выслушать тетю Юлию. А теперь приходилось признать, что рассказ нам очень понравился и что это даже на редкость любопытная история памятника. Когда мы ей это сказали, она, просияв, спросила:

— А может быть, этот камень даже герой? Или нет?

— Есть герои терпения, тетя Юлия, — ответил прадедушка, — есть героические дела, которые состоят как раз в том, что не делаешь именно того, что хотелось бы сделать. Иногда геройство — удержаться от героического подвига, потому что он принесет только славу и больше ничего. Требуется мужество, чтобы не побоявшись прослыть трусом, мудро избежать бессмысленных героических действий… А не заняться ли нам сейчас сочинением стихов?

— Зандман готовит сегодня паштет! — воскликнула тетя Юлия. — Он подожжет дом с досады, если я не явлюсь к ужину!

Тетя Юлия была под башмаком у своего хозяйственного найденыша, и об этом знал весь остров.

Но у меня всегда было такое чувство, что ей и самой это нравится. На этот раз нам удалось ее успокоить — ведь у нее в доме ужинают поздно вечером, а до тех пор у нас еще много времени! В конце концов она согласилась посочинять вместе с нами, и я вытащил из‑под дивана новый рулон обоев.

Однако тетя Юлия настояла на том, что лично она будет писать стихи в своей красной записной книжечке: во‑первых, потому, что она так привыкла, а во‑вторых, потому, что ее крошечный выдвижной карандашик вряд ли может оставить сколько‑нибудь заметный след на обоях, — так, во всяком случае, она утверждала. С этим мы согласились. Пусть тетя Юлия царапает своим карандашиком в записной книжечке. Да и нам останется больше простора на обоях!

Каждому предоставлялась полная свобода писать, что ему вздумается. Но стихи должны быть обязательно про памятник — впрочем, про какой угодно. Это было единственное условие.

Вскоре, однако, выяснилось, что не так‑то просто сочинять стихи в обществе тети Юлии. Её поэтический дар был как бы сродни артистическому. Она всё время бормотала что‑то себе под нос, глядела на нас, словно ища помощи и поддержки, постукивала в такт ритму по своей записной книжечке, считала на пальцах слоги и подскакивала на оттоманке, словно сидела не на чердаке, а в салоне корабля во время сильной качки. Когда я встал, чтобы подбросить угля в печку, тетя Юлия хотела было тут же затеять со мной разговор, но я, погрузившись в сочинение стихов, давал односложные ответы, и она со вздохом снова углубилась в свою красную записную книжечку.

— Первое слово, конечно, предоставим гостье, — сказал прадедушка.

И тетя Юлия, положив свой маленький выдвижной карандашик в футляр, стала читать:

###### Монеты с головой Нерона

Еще встречаются монеты:

На них тиран изображен

С венком, на голову надетым, —

Жестокий римлянин Нерон.

Не сотый год, не пятисотый

Ему проклятья шлёт молва:

«Летели головы без счета,

А на монете голова!»

Не объяснишь ни славой громкой,

Ни благодарностью — о нет! —

Что столько лет хранят потомки

Его портрет среди монет.

«Монета — как не прикарманить!»

Он сам виной такой судьбе:

Он сам портрет велел чеканить —

Бессмертье самому себе.

Он рассчитал, и хитро очень:

«В монетах всех переживешь!»

Его расчет и вправду точен:

Цена его бессмертью — грош!

— Отлично, тетя Юлия! — сказал прадедушка. — Просто превосходно! Ведь вы настоящая поэтесса!

— Только я еще не могу так быстро, как вы, — скромно заметила тетя Юлия.

— Да что вы, тетя Юлия! Дело ведь совсем не в быстроте! — воскликнул я. — Для поэтов быстрота не имеет значения. Сочиняй хоть полчаса, хоть полгода — это все равно. Лишь бы в конце концов получилось стоящее стихотворение.

— А ваше стихотворение, дорогая тетя Юлия, наверняка стоящее, — докончил прадедушка.

— Только вот про героев в нём ничего нет, друзья мои!

— Нет, есть, тетя Юлия! Оно показывает, что памятник вовсе не доказательство героизма. Верно, прадедушка?

— Да, Малый, ты прав. Теперь хорошо бы послушать твое стихотворение. А как оно называется?

— «Звонарь и полководец».

— А ну‑ка прочти! И я прочел:

###### Звонарь и полководец

Известный полководец занял город —

Вон памятник из бронзы над горой,

Но правда до людей дошла не скоро,

За что он был прославлен как герой.

Про этот город с сотней колоколен

Приказ гласил, как знаем мы теперь

(И полководец был собой доволен):

«Занять! И не считать людских потерь!»

Но низший чин какой‑то осторожно

Сказал, два пальца к козырьку держа:

«Ворваться в данный город невозможно —

Ведь тут на колокольнях сторожа!

Сто звонарей стоят у них на страже,

Да и к тому ж — заведено так встарь —

Оружие хранят здесь в доме каждом.

От звонарей слыхал я. Сам звонарь».

«Что, что? Так здесь на каждой колокольне

Торчит, выходит, сторож день и ночь?

Ты сам звонарь? Совет подать изволь мне,

Как звонарей прогнать оттуда прочь!»

«Свой пост покинут звонари тогда лишь, —

С улыбкой хитрой отвечал звонарь, —

Когда в набатный колокол ударишь,

Им возвестив, что помер государь».

«Проклятье! Черт возьми! Так что ж, доколе

Теперь нам ждать? А вдруг он не помрет?

Построить дом мне тут прикажешь, что ли,

И засадить капустой огород?!»

«Нет, справимся мы здесь куда скорее, —

Сказал звонарь, — пошлите‑ка меня,

И отвлеку на время звонарей я,

О мнимой смерти в колокол звоня.

Когда ж они за мною в честь кончины

В колокола согласно зазвонят,

Сапёры пусть во рвы кладут фашины,

И посылайте штурмовой отряд!»

Ответил полководец: «Что ж, попробуй!» —

И в город звонаря отправил он.

И вот уж колокольный звон особый

Вдали раздался. Громче, громче звон!

И город полководец взял без боя —

Ещё пылала на небе заря, —

И был он горд победой и собою…

— А что ж звонарь?

— Убили звонаря!

— Бедный звонарь! — сказала тетя Юлия, громко вздохнув. — Он был героем, а памятник поставили полководцу.

— А я вот не знаю, — задумчиво возразил прадедушка, — был ли этот звонарь героем. Он помог какому‑то полководцу взять какой‑то город и сам при этом погиб. И ни одна живая душа о нем не вспомнит. А что ему‑то было за дело до тщеславных замыслов этого полководца? Всё это совершенно его не касалось. В те времена знатные и богатые драли шкуру с бедных людей. Глупо, если бедняк помогал им. Умереть за неправое дело — не геройство.

Тетя Юлия с ним согласилась. Как видно, она хотела ещё поговорить о героях, но, взглянув на часы, воздержалась от этого. Теперь‑то уж она непременно должна идти домой, заявила она, иначе выйдет скандал с Зандманом. А скандалов она терпеть не может.

Я проводил тетю Юлию на нижний этаж — нога моя уже не болела.

Внизу мы чуть не столкнулись с Верховной бабушкой. Неся перед собой поднос с ужином, она выходила из кухни.

— Они вам читали стихи? — спросила она тетю Юлию.

— Нет, — ответила та, — я сочиняла вместе с ними!

— Что‑о?! — От удивления Верховная бабушка чуть не уронила поднос. — Вы сочиняли вместе с ними?

— Ну да, — засмеялась тетя Юлия.

— Про героев, тетя Юлия?

— Да, фрау Маргарита, про героев и про памятники.

Верховная бабушка, застывшая с подносом в руках, сама сейчас была похожа на памятник. Когда я на всякий случай взял у нее поднос, она сказала:

— Домашние хозяйки начали заражаться от поэтов. Слыханное ли дело! Жизнь — это все‑таки не собрание сочинений! Жизнь — это дело серьезное!

— Но ведь и вам самой, как я слышала, приходилось сочинять стихи, — сказала тетя Юлия.

— Да, но только к празднику! — объявила Верховная бабушка. — К празднику полагаются стихи. Но будни — это будни.

— Как хорошо, что мой сын для меня готовит! — воскликнула тетя Юлия. — Я могу считать будни праздником и сочинять с поэтами! Ну, спокойной ночи!

И прежде чем возмущённая Верховная бабушка успела ей что‑либо возразить, она исчезла за дверью. Поэтому бабушка набросилась на меня.

— Ну и нравы! — кричала она. — Ну и порядки! Изволь‑ка сам отнести поднос на чердак! — И она поспешно удалилась на кухню.

Я с удовольствием понес на чердак наш ужин. Я очень боялся, что прадедушка не сможет сам спрятать рулон.

Но когда я вошел в каморку, обоев нигде не было видно. Только когда я сел на оттоманку и подо мной что‑то зашуршало, я понял, что Старый засунул рулон под подушки. Я вынес его за дверь, чтобы Верховной бабушке легче было его найти, — зачем лишать ее тайных радостей!

За ужином Старый сказал, что у тети Юлии несомненный поэтический дар.

— Когда меня уже не будет, Малый, упражняйся с ней в искусстве сочинения стихов.

— Да ты, прадедушка, до ста лет доживешь с твоей каталкой, — сказал я, — а до тех пор у нас еще много времени.

— Никто никогда не знает, сколько у него ещё времени, Малый. Это — скажу я тебе по секрету — и делает жизнь такой увлекательной. Ну вот я и наелся. Пора, пожалуй, на боковую. Пойдём, поддержи‑ка меня немного!

Я помог прадедушке спуститься на второй этаж, и по дороге, на лестнице, он опять как бы подвел итог сегодняшнего дня:

— Про памятники мы сегодня узнали очень много, про героев мало. В мраморе и бронзе, Малый, слишком часто прославляют мнимых героев. Те, кто совершает настоящие подвиги, не зарятся на славу. А памятник им — то, что люди вспоминают о них с благодарностью.

Мы дошли уже до дверей прадедушкиной спальни, и он пожелал мне спокойной ночи. И я тоже пожелал ему спокойной ночи, а потом и сам пошел спать. Я еще слышал, как кто‑то прокрался на чердак, и хотя не сомневался, что это Верховная бабушка, любопытствует насчет наших творений, слишком устал, чтобы подняться по лестнице и застукать ее на месте преступления.

«Я ещё ей растолкую, что мы давно уличили ее в шпионаже», — подумал я. И закрыл глаза.

## *Суббота,*

*в которую я, как мне кажется, совершаю героический подвиг, а дома тем временем царит суматоха. Речь здесь пойдет о выдержке и о многом другом. Здесь приводится рассказ, написанный Верховной бабушкой, и рассказ отшельника Гаспара Ленцеро из времен завоевания Мексики, а также рассказ дяди Гарри, моряка. Итак,*

###### СУББОТА

Удивительно, что люди, которые много размышляют о героях, в конце концов начинают чувствовать непреодолимое желание перейти от размышлений к делу. Может быть, это потому, что героический подвиг (о чем говорит уже само слово) заключается в действии. Конечно, очень важно, что человек до этого думал, но еще важнее — осуществить само действие, выдержать, выстоять.

Вот и я, четырнадцатилетний «исследователь героизма», проснувшись рано утром в субботу, почувствовал непреодолимое желание совершить героический подвиг. Я решил сделать что‑нибудь героическое и только потом рассказать об этом прадедушке. У меня даже был один план. Еще до завтрака я незаметно выскользнул из дому, поспешил на Виндштрассе, где жил Джонни Флотер, и просвистел под его окном наш старый условный сигнал — начало английской песенки: «Мой милый уплыл в океан…» (Мы очень ценили эту песенку за краткость — наших знаний английского языка как раз на нее хватало.)

По необъяснимым причинам — может быть, по случаю плохой погоды — Джонни в это утро тоже проснулся раньше обычного. Он тут же открыл створку окна и спросил:

— Ты чего? Что‑нибудь случилось?

— Я хочу сегодня спуститься вниз по тросу, Джонни, — сказал я, и в горле у меня, когда я это говорил, что‑то забулькало.

— Что‑о‑о?! В такой ветер? — крикнул Джонни.

— Вот именно из‑за ветра, — храбро ответил я.

Окно захлопнулось, и через минуту Джонни, неумытый и растрепанный, стоял уже рядом со мной.

— Пошли! — сказал он. И больше ни слова. Но для меня это прозвучало так, как если бы палач сказал приговоренному: «Разрешите пригласить вас на виселицу!» Душа у меня ушла в пятки.

Между замыслом и выполнением геройского подвига, как я убедился в это утро, лежит глубокая пропасть, которую необходимо преодолеть. Теперь, когда я шагал рядом с Джонни навстречу ветру, то, что я задумал, представлялось мне сущим безумием.

План мой заключался в следующем. На северной стороне острова, который в этом месте поднимался над морем метров на шестьдесят, к скале был прикреплён трос. И тот, у кого доставало на это мужества и ловкости, мог, перехватываясь, спуститься по нему на причал. Если, конечно, вообще сумеет добраться до троса. Потому что трос свисал с красной гранитной скалы метров на десять или двенадцать ниже ее вершины. Кроме того, сейчас он обледенел. Все мальчишки моего возраста мечтали о том, чтобы в самое опасное время, то есть в мороз и ветер, спуститься по тросу. Но пока ещё ни один на это не отважился.

И вот я решился первым совершить этот головокружительный спуск. Однако, когда мы с Джонни глянули со скалы вниз и я увидел, как ужасающе далеко внизу качается трос, я потерял мужество. Мне захотелось сказать, как говорил мой прадедушка: «Ставить свою жизнь на карту без всякого смысла — это ещё не геройство!» Но мне было четырнадцать лет, и меня вдохновлял героический подвиг сам по себе, даже без смысла. А кроме того, рядом со мной стоял Джонни, словно восклицательный знак в невысказанной фразе: «А вот и слабо!»

И я это сделал. Только не спрашивайте как. Я и сам теперь уже этого не знаю. Знаю только, что ни разу не отважился взглянуть вниз; что, прежде чем поставить ногу на уступ, тщательно ощупывал его; что хватался рукой только за тот выступ, который сначала как следует проверил, и что вдруг в руках у меня очутился верхний конец троса.

Спуститься по нему оказалось делом менее трудным. Шерстяные перчатки, которые я, к счастью, надел, на морозе прилипали к железу, и мне приходилось всякий раз отрывать их силой. Но это не давало мне соскользнуть вниз и придавало какое‑то ощущение уверенности. Так я спускался всё ниже и ниже, упираясь ногами в отвесную скалу, перехватывая руками обледенелый трос, пока не спрыгнул на осыпь у подножия скалы. Так называемый героический подвиг был уже позади, и я услышал, как Джонни Флотер наверху насвистывает: «Мой милый уплыл в океан…»

Я махнул ему, чтобы он тоже спускался этим путём. Но он постучал пальцем по лбу и показал с помощью рук, что мы встретимся на полпути — у лестницы, ведущей с низменной части острова на возвышенность. И я, насвистывая нашу песенку, зашагал вдоль причала, о который разбивались волны. Я испытывал невероятную гордость. Мне казалось, что я чуть ли не Геракл, волокущий за собой Цербера. И я упал с облаков на землю лишь тогда, когда Джонни, дожидавшийся меня у лестницы, сказал мне:

— На такое сумасшествие только ты один и способен! Не будь ты поэтом, наверняка бы свалился!

Это замечание совершенно меня обескуражило. Я‑то считал, что из исследователя героизма, который только выдумывает героические подвиги, я теперь превратился в настоящего героя, совершающего подвиги. А этот паренек заявляет мне в лицо, что только тот, кто сочиняет небылицы, и способен на такие дурацкие выходки. Нет, это уже верх наглости.

— А ты попробуй спустись! — только и ответил я Джонни. И, перескакивая через ступеньки, стал поспешно подниматься по лестнице — скорее, скорее наверх, на гору, на Трафальгарштрассе, рассказать обо всем прадедушке. От волнения я даже не заметил, что впервые после того, как мне вскрыли нарыв, могу бежать бегом.

В доме царила суматоха, и сразу по двум причинам, так что моё отсутствие за завтраком прошло почти незамеченным. В нижнем этаже дома суетилась Верховная бабушка. Прошел слух, что наш катер возвращается из Гамбурга. Ян Янсен утверждал, что еле заметная точка на горизонте — это и есть наш «Островитянин». Поэтому я, стараясь не попадаться на глаза бабушке, взял себе на кухне бутерброд с колбасой и поспешно удалился на чердак к прадедушке.

Но и Старый был вне себя от волнения, правда, совсем по иной причине. Он размахивал рулоном обоев — нарисованные на нем лиловые розы никогда ещё так не бросались мне в глаза — и кричал:

— Мир перевернулся, Малый! Я вообще больше ничего не понимаю! Твоя Верховная бабушка пишет рассказы на оборотной стороне обоев! Ну, что ты скажешь?

Сначала я вообще ничего не сказал, но мои собственные переживания по поводу Джонни Флотера и троса как‑то поблекли. Потом я спокойно спросил:

— А почему, собственно, Верховная бабушка не может написать рассказа на обоях, прадедушка?

— Почему, Малый? — возмущенно крикнул Старый. — Потому что это значило бы, что мир трещит по швам. Когда мы, поэты, портим обои своими стихами, мы делаем это на свой страх и риск. Это, так сказать, наше поэтическое сумасбродство. Но Верховные бабушки, которые призваны заботиться о благопристойности и порядке, обязаны протестовать против такого использования обоев! Это их прямая обязанность, Малый! А иначе кто же будет поддерживать порядок? Уж не мы ли, поэты? Этого ещё не хватало!

Старый с трудом перевел дух, и я сказал, стараясь его успокоить:

— Верховная бабушка ведь давно уже знает, что мы исписываем её обои, прадедушка, а все не заявляет протеста!

— Но я‑то думал, Малый, что она терпит это с крайним неодобрением. Мне и в голову не приходило, что она станет нашей соучастницей. Нет, это никуда не годится. Должен же хоть один человек в доме придерживаться каких‑то правил. До чего мы докатимся, если домашние хозяйки станут подражать поэтам? Куда мы полетим?

— В бездну, прадедушка!

— Вот именно, Малый! Случай с обоями требует разъяснения, иначе я отказываюсь понимать, что происходит.

Обои, исписанные Верховной бабушкой, настолько разволновали Старого, что я попробовал успокоить его, высказав одно предположение. Должно быть, обои, сложенные здесь, на чердаке, отвергнуты бабушкой и вовсе не предназначены для столовой, как мы думали раньше.

— Исписывать забракованные обои, — сказал я, — вовсе не противоречит правилам.

Это замечание неожиданно успокоило прадедушку. Он сказал почти весело:

— Художник Зингер (между прочим, его дочка Кармен тоже сочиняет стихи!) приносил вчера альбом с образцами обоев. А зачем может понадобиться такой альбом?

— Чтобы выбрать новые обои, прадедушка!

— Вот именно, Малый. Мне даже кажется… — Старый сказал это чуть ли не с блаженной улыбкой, — мне кажется, что ты прав и что здесь, на чердаке, лежат забракованные обои. — И с торжествующим видом он закончил: — Приличие и порядок восстановлены на Трафальгарштрассе! Так разреши же прочесть тебе рассказ, который написала твоя Верховная бабушка на забракованных обоях.

Он с удовлетворением развернул на столе рулон с фиолетовыми розами и начал читать:

###### РАССКАЗ ПРО ЖЕЛЕЗНОГО ЩЕЛКУНА

Вечером, прежде чем пойти спать, хорошая хозяйка всегда окидывает взглядом комнату.

Дети уже лежали в постели, а отец был в гостях у соседей. Подметая, мать нашла на полу несколько закатившихся орехов и бросила их в выдвижной ящик стола. Потом она положила туда же щипцы для орехов — старого железного Щелкуна и, задвинув ящик, вышла из комнаты.

— Вот и еще один день прошел, — со вздохом облегчения сказала она, закрывая за собой дверь.

В комнате стало тихо, в ящике тоже. Старый Щелкун отдыхал от своей утомительной деятельности, орехи клевали носом. В самом дальнем углу ящика лежал крупный орех Грека, конечно грецкий. А рядом, подкатившись к нему под бок, орех поменьше, Креха. Были они с одной ветки, а значит, братья.

— Ну и вечер выдался, — пробормотал Грека, — чуть не раскололи! В последнюю минуту кое‑как откатился в сторону!

— Вот меня расколоть не так‑то просто! — похвастал Креха. — Я крепкий орешек! Мал да удал! Наверняка меня съедят в последнюю очередь.

Но тут они оба умолкли. Все орехи испуганно прислушались.

— Что это там за скрип? — спросил лесной орешек по имени Мышонок.

— Щелкунище скрежещет зубами, — ответил Лягушонок, его двоюродный брат с соседней ветки.

Орехи снова прислушались.

И скрип повторился. Теперь уже ни у кого не оставалось сомнений — Щелкун точил зубы. Он разевал железную пасть, с лязгом захлопывал ее и бормотал себе под нос:

— В полночь, если только буду жив, расщёлкаю все орехи в этом ящике. Сотру в порошок!.. У‑у‑ух, как зубы чешутся!

Нетрудно себе представить, как тряслись орехи, слушая эти речи. Было уже без десяти двенадцать. Еще десять минут — и Щелкунище, это страшилище, всех их расколет!

Испуганно прислушивались они к тиканью часов, стоящих в углу. Мышонок и Лягушонок шмыгали носом.

Только орех Грека, как всегда, не поддавался панике. Он спокойно обдумывал, как спастись от Щелкуна. И вот ему пришла в голову счастливая мысль.

— Братья, родственники и друзья — лесные орехи! — проговорил он вполголоса. — У меня есть одна идея. Ну‑ка, подкатывайтесь поближе! А то как бы нас не услышал железный скрипун!

Орехи покатились в тот угол, где лежал орех Грека. Каждый торопился, как мог. До двенадцати оставалось всего две минуты.

И орех Грека объяснил всем собравшимся в этом углу свой план.

— Когда пробьёт двенадцать, — сказал он, — мы все вместе с разбегу подкатимся к передней стенке ящика, и ящик откроется!..

Орехи ликовали и подпрыгивали.

— Блестящая идея! — шуршали они на все лады.

Но орех Грека остановил их:

— Тише! Выслушайте меня сначала! Когда ящик откроется, мы все выпрыгнем на пол, раскатимся по всем уголкам и закоулкам и притаимся. Понятно?

— Да‑а‑а‑а! — прокатилось по ящику. И лесные, и грецкие орехи откатывались назад, чтобы взять разбег.

Щелкун ничего этого не слышал. Он был стар и туговат на ухо, как многие старики. В ожидании, когда пробьёт двенадцать, он скрежетал и время от времени щелкал зубами.

И вот до двенадцати осталось всего четыре секунды. Три секунды, две секунды, одна — и раздался бой часов, стоящих в углу.

— Так‑с, — проскрипел Щелкун, — сейчас я им покажу! — И раскрыл свою железную пасть.

Но вдруг что‑то с тарахтеньем и грохотом покатилось, полетело кувырком, сразу со всех сторон, рядом с ним и прямо через него — он и понять не мог, что тут творится. Когда же он снова пришёл в себя и стал растерянно озираться по сторонам, то увидел, что остался совсем один в ящике. Орехи, попрыгав на пол, скакали по комнате, выбирая уголки и закоулки для пряток, да еще выкрикивали хором дразнилку:

Эй, Щелкун,

Железный скрипун,

Иди‑ка! Ищи‑ка!

А ну‑ка раскуси‑ка!

Наконец все орехи попрятались — кто под диван, кто под шкаф, кто в часы, кто в вазу, кто в цветочный горшок, кто в стакан, — и снова наступила тишина.

— Проклятый сброд! — проскрипел Щелкун. — И куда они все подевались? А какая темнота! Хоть глаз выколи! Постойте, уж я до вас доберусь! Уж я вас расщёлкаю! Клянусь моей железной челюстью!

И, расставив свои несгибаемые железные ноги, он прыгнул вниз, на пол, и зашагал железной поступью к дивану.

Мышонок и Лягушонок, лесные орешки, притаившиеся под диваном в самом темном уголке, думали, что сердце у них вот‑вот выскочит из скорлупки.

— Идет! — шепнул Мышонок.

— Слышу! — шепнул Лягушонок.

И они откатились как можно дальше.

Разъяренный Щелкун зашагал было на своих несгибаемых железных ногах вслед за ними — да разве их поймаешь!

Шагая мимо часов, стоящих в углу, он вдруг споткнулся о грецкий орех Греку, но тот тут же скакнул в деревянный домик, где жили часы.

— Попался! — рявкнул Щелкунище и, погнавшись за Грекой, прыгнул с разбегу прямо в часы.

Зазвенело стекло. Часы от страха громко пробили два раза… Но орех Грека успел уже выкатиться из деревянного домика. Зато железному скрипуну здорово досталось от маятника! Раз‑два, раз‑два, раз‑два — удары так и сыпались!

Завывая от злости, Щелкун то вставал, то падал, опять вставал и снова падал — удары так и сыпались! Наконец ему кое‑как удалось выбраться из часов. С гудящей головой он еле‑еле доплелся до ковра и, упав на него, растянулся без сил.

Вот уж обрадовались орехи! Вот уж хохотали и тарахтели! И даже снова запели хором свою дразнилку:

Эй, Щелкун

Голова‑чугун,

Поди‑ка найди‑ка!

А ну‑ка раскуси‑ка!

И тут железного Щелкуна охватило такое бешенство, что он начал кидаться из стороны в сторону: то под шкаф, то под стол, то на швейную машину, то на окно, — везде ему чудилось перекатывание и похохатывание.

Но, погнавшись за Грекой по подоконнику открытого окна, он вдруг оступился, подпрыгнул и кувырнулся вниз головой прямо в сад.

— Падаю! — только и успел он еще крикнуть, неизвестно зачем. И исчез.

Орехи от радости так и заскакали по комнате! Но тут часы пробили один раз. Час, когда все вещи оживают, прошел. Катающаяся взад и вперед по комнате веселая компания снова превратилась в орехи, разбросанные по полу.

Как раз в эту минуту отец возвратился домой от соседей.

— Вот как? — удивился он, остановившись на пороге. — Ящик открыт, орехи на полу?

И, собрав орехи, бросил их в ящик — он был большой любитель порядка. Но тут он увидел дыру в стеклянной дверце часов и, пробормотав что‑то насчет озорников, которым давно пора надрать уши, зевнул и вышел из комнаты.

Орехи опять собрались все вместе в темном ящике стола. Они медленно раскатывались по своим углам, позевывая и желая друг другу спокойной ночи. И наконец притихли и уснули.

Только старый Щелкун не мог уснуть в эту ночь. Он лежал в саду на холодной земле и скрипел:

— В такой сырости наверняка схватишь ржавматизм! Вот в левой ноге уже начинается! Эх, лежал бы я лучше спокойно в тёмном ящике!

Потом началась гроза — дождь хлестал и барабанил по крыше, ветер выл и свистел. Через несколько дней Щелкун совсем заржавел, зубы его притупились, и когда отец нашёл его под окном, ему пришлось выбросить ржавого скрипуна в помойку. Он и теперь ещё там лежит и скрипит с утра до вечера, что ржавматизм совсем его замучил.

Прадедушка свернул в трубку обои с лиловыми розами, а я сказал:

— Вот так герои у Верховной бабушки — орехи, одурачившие старого Щелкуна! Тогда уж я герой из героев!

— Ты? — удивился Старый. — Как так? Какие же героические подвиги ты совершил?

Наконец‑то я мог рассказать ему о моем героическом подвиге! Я описывал, как спускался вниз со сколы по обледенелому тросу, но почему‑то уже не с тем вдохновением и подъемом, который чувствовал там, на берегу моря, а, скорее, деловито; и все‑таки так, что мой рассказ, как мне казалось, должен был произвести впечатление.

Но я ошибся. Выслушав его до конца, прадедушка чуть ли не разозлился.

— Может быть, Малый, — сказал он, — благодаря этому карабканью ты и приобрел кой‑какой жизненный опыт. По крайней мере, на собственной шкуре испытал, как велика пропасть между благим намерением и самим делом. Но, — и теперь он сказал как раз то, чего я ждал все время, — но ставить свою жизнь на карту без всякого смысла — это ещё не значит быть героем! Верь не верь, Малый, а орех Грека куда больше похож на героя, чем ты! Скольким орехам продлил он короткий век своей смелой выдумкой и присутствием духа!

Я вздохнул и признался, что Джонни Флотер тоже не считает мой подвиг геройством. Говорит, что это просто поэтическое сумасбродство.

С этим прадедушка тут же согласился.

— Не такой уж мудрец твой Джонни Флотер, — сказал он, — но, когда дойдет до дела, он, может, еще окажется куда нужнее, чем мы оба, вместе взятые. Вот как оно бывает с мужеством и геройством!

Я недолго предавался унынию — на чердаке, к нашему удивлению, вдруг появился сам Джонни Флотер.

— Ваш катер подходит, — сказал он. — Можно, я разнесу накладные? Вы ведь небось сочинять будете?

Я великодушно разрешил ему это, хотя и знал, что теряю немало.

Он хотел было тут же броситься к двери, но прадедушка окликнул его:

— Скажи‑ка, Джонни, почему ты все‑таки не удержал Малого? А если бы он сорвался, разбился…

Джонни побледнел и пробормотал, запинаясь:

— Я… я… я и сам не верил, что Малый станет спускаться. Я, наверно, сам ещё больше его передрейфил. Когда он спрыгнул на землю, у меня гора с плечей свалилась.

— С плеч, Джонни, — поправил Старый.

— Чего?

— Надо говорить «с плеч свалилась», Джонни, а не «с плечей»!

— А‑а‑а! Извиняюсь! Ну ладно, я пошел!

Явно смущенный, Джонни снова направился к двери, и, когда дверь за ним затворилась, прадедушка сказал:

— Смешной народ люди, Малый! И все‑таки ничего нет на свете интереснее людей.

Потом мы с ним решили разобраться в том, какую роль в героическом подвиге играют выдержка и упорство. И написать об этом.

— Гляди‑ка, Малый, — сказал прадедушка, — мы с тобой перебрали немало всяких качеств, которые отличают героев; но только на примере клоуна Пепе поняли, сколько выдержки и терпения требует настоящий героический поступок. А легко ли было маленьким орешкам час битый увертываться от Щелкуна, гонявшегося за ними с раскрытой пастью! Или, уж так и быть, возьмем хоть этот твой дурацкий трос. Как долго пришлось тебе спускаться вниз, с трудом перехватывая его руками! Если уж это поступок героический, то главное в нем — выдержка. Понятно?

— Конечно, понятно, — не без гордости ответил я. — Ведь это я сам выдержал.

— Скажи, пожалуйста, этот пострел еще и задается! — вздохнул прадедушка. Потом задумался и сказал: — Я помню одну историю про выдержку, Малый. Действие происходит в давние времена в Мексике. Ты знаешь что‑нибудь о завоевании Мексики?

— Знаю, что оно продолжалось с 1519 по 1521 год, прадедушка, и что это была одна из самых кровавых войн во всей мировой истории.

— Верно, Малый. А один из самых кровавых дней в этой войне — резня при Чолуле. Описал ее некий Гаспар Ленцеро, ставший потом отшельником. Я буду рассказывать тебе все так, будто я сам и есть этот отшельник и диктую мой рассказ, а кто‑то его записывает. Ну, слушай!

Медленно и задумчиво, осторожно подбирая слова, прадедушка начал свое повествование:

###### РАССКАЗ ГАСПАРА ЛЕНЦЕРО

Зовут меня Гаспар Ленцеро. Я живу отшельником в самой дикой и пустынной части Мексики, где растут только кактусы. Плоды опунции — моя единственная пища. Жилищем мне служит пещера. Я хочу моей жизнью искупить хотя бы малую часть того зла, которое причинили индейцам мои земляки, пришедшие сюда под предводительством полководца Кортеса[[11]](#footnote-11). Я хочу поведать о том, что произошло в городе Чолуле, чтобы весть об этом дошла до потомков.

Когда мы прибыли в Чолулу, старейшины города встретили нас со всевозможными почестями и, по велению верховного жреца, разместили в храме и его подсобных помещениях, окружающих большой мощеный двор. Многие жители города покинули его пределы. Мы знали по опыту, что это плохой знак. Но никаких точных сведений о коварных планах населения у нас не было. Это было мне достоверно известно потому, что один из приближенных Кортеса, пользовавшихся его доверием, был моим другом. Он рассказал мне, что слухи о тайном нападении, якобы замышляемом индейцами, не подтвердил ни один из наших разведчиков.

Поэтому я был очень удивлен, когда на следующий день у нас в лагере был отдан приказ проверить оружие: копья, мечи, аркебузы — и находиться в полной боевой готовности.

По счастливому случаю я остался наблюдателем и не стал участником страшной резни. Мне было приказано держаться поблизости от генерала Кортеса и выполнять обязанности связного. Кортес стоял на крыше храма и смотрел вниз во двор, где собралась огромная толпа местных жителей в ожидании его приказа. По свидетельству самого Кортеса, их было две тысячи. Почтенный летописец Лас Касас говорит, однако, о пяти‑шести тысячах, и я более склонен верить ему. Ибо когда я глянул вниз, то увидел необозримое море голов: люди с мешками за спиной, в которых находился скудный запас провизии, стояли или сидели на земле, скрестив ноги, и, ничего не подозревая, беседовали друг с другом.

Очевидно предполагая, что их позвали сюда для переноса каких‑то тяжестей, они пришли без всякого оружия, некоторые даже полуголые. Это было мирное зрелище, а отсюда, с крыши, тем более мирное, потому что, переводя взгляд с толпы на город, я видел его прекрасные строения и многочисленные башни, а дальше, за ними, кукурузные поля и бесконечные вишневые сады, залитые солнцем.

Меня бросило в дрожь, когда внезапно раздался пушечный выстрел и наши солдаты начали стрелять с крыши в толпу индейцев, собравшихся перед храмом. Сотни из них умирали с открытым ртом, словно не в силах поверить в то, что произошло. Уцелевшие стали кричать, молить о пощаде. Я в ужасе смотрел на Кортеса, стоявшего на краю крыши и глядевшего вниз, во двор, с таким выражением, будто он наблюдает за игрой в шахматы.

Но самое худшее было впереди. Когда замолчали аркебузы, наши солдаты ворвались во двор с ножами и мечами и принялись колоть и рубить безоружных индейцев, оставшихся в живых.

Зрелище это было настолько страшным, что я отвел глаза и снова уставился на Кортеса.

Широкое лицо его с низким лбом потемнело, ноздри раздувались, губы были плотно сжаты, кожаный жилет расстегнут — ему не хватало воздуха.

Там, внизу, по его приказу убивали и убивали людей. Испанцы, не зная пощады, орудовали во дворе, залитом кровью. Стоило раненому индейцу выбраться из‑под горы трупов, как он тут же погибал от удара ножа. Предсмертные крики и стоны оглашали воздух.

Вдруг в пустых глазах Кортеса блеснуло любопытство. Я невольно последовал за его взглядом и увидел, что один из наших солдат, молодой парень из Кастилии, по имени Энрико де Кастильо Бетанкор, бросив свой меч, крепко обхватил обеими руками молодого индейца, как бы стараясь его защитить. И в ту же минуту я услышал, как он крикнул, обращаясь к полководцу:

— Он спас мне жизнь! Пощадите его!

Оба юноши, не отрывая взгляда, смотрели вверх, на крышу, а наши солдаты, как это ни странно, словно сговорившись, обходили их стороной, то ли оробев перед такой силой сопротивления, то ли поверив, что Кортес на этот раз дарует индейцу жизнь.

Кортес и глазом не моргнул, услышав крик кастильца. Он только спросил сквозь зубы:

— Как его зовут?

Я поторопился назвать имя молодого солдата и подтвердить, что этот индеец действительно спас ему жизнь. Я довольно хорошо знал их обоих. Энрико де Кастильо Бетанкор, худой, стройный юноша с кудрявыми каштановыми волосами, не раз заводил со мной разговор о религии и высказывал чудовищную мысль, что надо отказаться от бога и вообще от всех божеств, потому что в истории человечества бесконечная цепь кровавых преступлений совершалась во имя богов. Я снова и снова старался объяснить ему, что бог не повинен в мерзостях, творимых во имя него людьми. Но мне ни разу не удалось убедить его в этом. Я знал также, что он вел подобные разговоры и с молодым индейцем, которого сейчас прикрывал своим телом, стараясь спасти от смерти. Мне казалось даже, что я вижу на лицах обоих юношей, стоящих там, внизу, свет убежденности в своей правоте — словно чудовищное кровопролитие перед храмом лишь подтверждало их кощунственные мысли.

Кортес, выслушав мое объяснение, не проронил ни слова. Он опять уже внимательно следил за резней во дворе, негромко напевая, и не обращал никакого внимания на молодого испанца и его подзащитного.

Я же не мог теперь отвести от них взгляда. Я заметил, что несколько индейцев незаметно пытаются пробраться к ним поближе, словно эти двое — маяк во время бури, но, не успев приблизиться, погибают от удара меча или ножа. Каждую секунду я ждал, что кудрявый Энрико де Кастильо упадет, сраженный, на землю, увлекая за собой молодого индейца с миндалевидными глазами; но оба они продолжали стоять прямо, а смерть вокруг них косила и косила все, что попадалось ей на пути. Небольшой мешок на спине индейца подымался и опускался в такт его тяжелому дыханию.

Один раз — у меня захватило дух, когда я это увидел, — наш офицер попробовал оттащить Энрико от индейца и нанести тому удар кинжалом. Но Энрико крикнул:

— Кортес!

Это прозвучало почти как приказ.

Услышав крик, генерал нахмурился и бросил быстрый взгляд на молодого испанца.

Офицер, заметив это, опустил руку с занесенным кинжалом.

Меня прошиб холодный пот. В эту минуту я дал обет, что стану отшельником, чтобы искупить вину моих земляков, если господь бог защитит этих юношей. Меня бросило в дрожь, когда я заметил, что больше ни одного индейца не осталось в живых. Я молил бога, чтобы он явил свое милосердие и пощадил этих молодых людей, на которых он, может быть, и имел причину гневаться. В это мгновение вооруженный испанец приблизился к ним вплотную, но вдруг отшатнулся и обошел их стороной. Я не мог понять, как у Энрико хватает выдержки.

Наконец, когда вся земля перед храмом была устлана трупами индейцев, кое‑кто из наших солдат стал кричать Энрико, что если он не отойдет сейчас в сторону, то поплатится жизнью.

Энрико достаточно было отступить на полшага, чтобы оказаться вне смертельной опасности — вокруг него собиралось с угрозами все больше и больше испанцев. Но он не отступал. Как только кто‑нибудь направлял нож против индейца, он заслонял его своим телом. К недоумению испанцев, он стоял один против всех, и его сосредоточенное лицо выражало решимость скорее погибнуть от руки своих, чем предать своего спасителя.

И тут Кортес подал небрежный знак, чтобы обоих доставили к нему на крышу.

Я немало пережил и повидал за годы завоевания Мексики. Мне хорошо известно, какое зло может причинить человек человеку. Я был свидетелем того, как испанцев приносили в жертву языческим богам. Я знаю, какие преступления свершались во имя христианского бога. И я понимаю, что человек, видевший это кровопролитие, мог проклясть богов. Но мне до конца дней моих не забыть этого солнечного летнего дня на крыше храма в Чолуле. Не забыть, как привели к Кортесу этих двоих людей, оставшихся в живых. Не забыть его страшного допроса.

Оба они были забрызганы кровью убитых и тяжело дышали. Они стояли рядом, примерно одного роста, один кудрявый, другой с высоко подвязанными черными волосами. Молодой кастилец говорил за двоих, потому что индеец не знал испанского. Он точно и подробно отвечал Кортесу на все его вопросы — о происхождении, имени, жизненном пути, иногда обмениваясь со своим товарищем короткими репликами на его языке. Ни одного горького слова не сорвалось с его уст. Я заметил, что его спокойствие вызывает невольное уважение даже у приближенных Кортеса.

Однако чем спокойнее он отвечал, тем больше его ответы раздражали генерала.

— Что заставило вас, испанца и христианина, спасать жизнь этому человеку? — резко спросил он.

— Чувство благодарности, господин генерал! Когда меня собирались убить за то, что я христианин, когда у меня, живого, хотели вырвать сердце из груди, этот парень крикнул, что я отказался от христианского бога и поклоняюсь богам Мексики. Это была ложь, господин генерал, но она спасла мне жизнь. Я не отрицал ее.

— Так вот оно что! — вскрикнул Кортес, словно уличив молодого человека в смертном грехе. — Значит, вы отреклись от господа бога, чтобы спасти свою жалкую жизнь, Энрико де Кастильо Бетанкор?

— Что же это за бог, если он допускает такое? — отвечал кастилец, указывая рукой на двор перед храмом, где несколько испанских солдат, стоя, как палачи, среди окровавленных трупов, с любопытством прислушивались к тому, что происходит на крыше.

Приближенные Кортеса переглянулись. Вопрос молодого человека, произнесенный спокойным голосом, звучал неслыханным обвинением против самого Кортеса. Мертвые, на которых указывал рукой Энрико, были словно молчаливыми свидетелями его правоты.

Но Кортес сделал вид, что не понял обвинения. Он произнес сквозь зубы:

— Спросите индейца, почему он разрешил вам, христианину, спасать его.

Кастилец перевел вопрос, а затем ответ индейца. Ответ был прост:

— Потому что мне дорога жизнь.

— Кто ценит свою жизнь выше, чем господа бога, — воскликнул Кортес, — во имя чего он жаждет жить? Во имя какого бога? Во имя какой жизни?

— Во имя жизни без богов — человеческой жизни, господин генерал.

— И ваш спаситель тоже согласен с этим безумием, кастилец?

— Конечно, господин генерал.

И молодой испанец невольно взял индейца за руку.

— Ну вот, — сказал Кортес и вдруг рассмеялся, — теперь вы попались в ловушку, богохульники! Убирайтесь отсюда и не надейтесь на мою защиту. Живите без богов. Я объявляю вас вне закона. Никто вас не защитит. Ни один испанец, ни один индеец. С этой минуты вы добыча для тех и для других. Попробуйте выживите, если сумеете!

Тогда испанец сказал что‑то по‑индейски своему другу, и оба они, сопровождаемые смехом Кортеса, стали спускаться с крыши. Никто не тронул их, объявленных вне закона. Известно, что им удалось выбраться из Чолулы. Но больше о них никто никогда ничего не слыхал.

Я же, памятуя о моем обете, подал генералу Кортесу прошение об отставке, которую он мне тут же и дал, не допытываясь о причинах.

Рассказ прадедушки захватил меня и очень взволновал. Перед глазами у меня стояла картина: молодой испанец и молодой индеец идут все дальше и дальше по кукурузным полям, по разрушенной войной стране, бездомные, нигде не находя пристанища. Я боялся услышать развязку этой истории.

Но Старый, словно догадавшись об этом, ничего больше не сказал. Только позднее, когда мы уже спустились вниз, потому что вернулись из плавания наши моряки, только после того, как дядя Яспер рассказал про шторм, а Верховная бабушка, то ужасаясь, то восхищаясь, выслушала, как ловко они справлялись с катером в бурном море, — прадедушка шепнул мне:

— Пусть их, гордятся своими подвигами. Мы знаем иных героев. Тех презирали. И все равно это были подлинные герои.

Как ни странно, ни торжественный обед, ни рассказы дяди Гарри и дяди Яспера не могли отвлечь мои мысли от мексиканской трагедии. Только когда Джонни Флотер снова зашел к нам за накладными, мне удалось ненадолго забыть о ней, и я даже согласился прогуляться с ним по берегу до причала — все равно прадедушка собирался прилечь на часок‑другой.

Джонни упрекал меня за то, что я рассказал прадедушке про трос.

— О таких делах, — сказал он мне, — взрослым знать нечего, Малый. Они все понимают наоборот.

— Да ведь прадедушка точно так же, как ты, считает это просто сумасбродством. У вас с ним одно мнение.

— Ну да, твой прадедушка!.. — Джонни пожал плечами, показывая, что отводит Старому какое‑то особое место среди взрослых, и это сразу расположило меня в его пользу.

Спускаясь по лестнице, я рассказал ему мексиканскую историю, и, к моему удивлению, она ему необычайно понравилась. Он даже сознался, что сам никогда бы не смог пойти на то, на что отважился этот испанец.

— Знаешь, — сказал он, — смелости у меня на это, может, и хватило бы, но как‑то чересчур уж чудно мне показалось бы защищать этого мексиканца. Представляешь, ты сам испанский солдат — и вдруг ты один против всех испанцев. Человек как‑то привыкает знать, с кем он и откуда…

Это замечание Джонни помогло мне увидеть подвиг Энрико де Кастильо Бетанкора в новом свете. Я вдруг понял, что, спасая жизнь мексиканцу, этот юноша расставался со всем, что составляло его собственный мир, — с богом и с людьми. И я задумался о героях, которым хватает мужества противопоставить себя толпе, стать изгнанниками. Мысли так и роились у меня в голове, и на причале Джонни опять стал жаловаться, что он говорит, говорит, а я ничего не слышу.

Но тут мы, к счастью, повстречали Низинную бабушку и Низинного дедушку, которые прогуливались по причалу, как всегда в субботу после обеда. Они стали расспрашивать меня, как чувствует себя прадедушка, и я сказал им, что он держится молодцом. Потом они пригласили нас с Джонни к себе пить кофе с пирогами.

Теперь я иногда удивляюсь, как это я тогда на нашем острове выпивал столько кофе и поедал столько пирогов да и разных других сластей и не растолстел, как бочка. Может быть, этому помешал соленый воздух или то, что летом я раз по десять на день прыгал в море. Во всяком случае, тогда, в четырнадцать лет, я был худой как щепка.

Вечная проблема — как отделаться от Джонни и пойти сочинять стихи — на этот раз решилась сама собой: Джонни был приглашен к кому‑то на день рождения, где, как видно, надеялся отведать не менее вкусного пирога. Поэтому я, поблагодарив бабушку с дедушкой, тут же поднялся по лестнице на верхнюю часть острова и, не теряя времени, отправился на чердак, в каморку прадедушки. Он уже сидел здесь в своей каталке и, развернув очередной рулон обоев, что‑то писал на его оборотной стороне.

— Что ты сочиняешь? — спросил я.

— Конечно, балладу, Малый. Только сейчас начал. Может, присоединишься?

— Какая, значит, у нас сегодня тема, прадедушка?

— Выстоять, Малый, выдержать, сжав зубы. Я сейчас перелагаю на стихи еще одно приключение Геракла — в черной тетрадке его нет. Может, и ты напишешь балладу о выдержке?

— Попробую, прадедушка.

Я снял свитер — в нем было слишком жарко в натопленной каморке, — взял приготовленный на столе карандаш и написал на самой середине развернутого рулона: «ГЕНРИХ‑ДЕРЖИСЬ! БАЛЛАДА». У меня еще не было ни малейшего представления о том, кто такой этот «Генрих‑Держись», но, написав его имя, я с каждой минутой представлял себе его все отчетливей, а потом и в самом деле стал сочинять балладу и закончил ее даже раньше, чем прадедушка свою.

Когда и Старый кончил писать, он спросил:

— Ты ведь сперва придумал название, а уж потом написал балладу, правда?

Я кивнул.

— Говорят, это обычный прием многих сочинителей. А ну‑ка, прочти! Посмотрим, как ты справился с задачей, которую сам себе задал.

И я прочел:

###### Генрих‑Держись !

###### Баллада

Слыхал я когда‑то:

У речки ребята

Возились с коварным песком.

Копали, пыхтели,

И вглубь по туннелю

Они пробирались ползком.

Последним, десятым,

Вполз Генрих — ребятам

Вообще‑то не нравился он:

Не первый, не главный,

Худой и забавный,

Был Генрих довольно смешон.

И только он скрылся,

Песок заструился,

Но Генрих его удержал:

— Обвал надо мною!

Держу я спиною!

Обратно, ребята! Обвал!

Они рассмеялись,

Они не боялись,

Подумали: «Шутит, трепло!»

— Ну, что же вы, черти!

Спасайтесь от смерти!

Скорее! Держать тяжело!

И вот, от испуга

Толкая друг друга,

Ползут, отгребая песок…

— Давайте, давайте!

Вот тут пролезайте!

Вот тут — у меня между ног!

Выходят ребята —

Четвертый и пятый —

Из мрака — вот солнце и жизнь!

А те, что в туннеле,

Дыша еле‑еле,

Все просят: — Эй, Генрих, держись!

Но после восьмого

Обрушился снова

Песчаного свода кусок.

И кончились силы,

И с ног его сбило,

И рухнул над ними песок.

Копали, копали,

Песок разгребали

Поспешно товарищи их

Лопатой, доскою

И просто рукою…

Пока не отрыли двоих.

И Генрих в постели

Почти три недели

Лежал с переломом ноги,

И все ребятишки

Несли ему книжки,

А мамы пекли пироги.

В бинтах он и в гипсе…

Но ты бы ошибся,

Подумав: «Пропащая жизнь!»

Ведь он поправлялся,

И он улыбался,

Теперь он был Генрих‑Держись!

Прадедушка, выслушав балладу, сперва помолчал. Потом он сказал:

— Что ж, ты справился, Малый. Вот у нас и еще один герой. И этот юный герой совершил куда более серьезный подвиг, чем ты на своем тросе. Никакого героического замысла у него не было, но он проявил исключительную выдержку и спас жизнь своим друзьям. Это хорошая баллада, Малый.

— Спасибо, прадедушка. А теперь ты прочтешь мне про подвиг Геракла?

— Да, Малый.

Он, как всегда, повертел в руках очки, как всегда, откашлялся и начал читать:

###### Баллада про Геракла и лань

Геракл был смел и полон сил

И, как гласит преданье,

Геройский подвиг совершил,

Великое деянье.

Пришлось Гераклу как‑то раз

По царскому желанью

Гоняться за… (таков приказ!)

Дианиною ланью[[12]](#footnote-12).

Герой вначале не учел

Все трудности задачи:

Ведь ланям горы нипочем,

Ведь лани быстро скачут.

Он просто взял да поднажал,

Не испросив совета,

Бежал, бежал, бежал, бежал —

И обежал полсвета.

Не давши отдыха ногам,

Он с гор спускался в долы,

Бежал по лесу, по лугам

Зеленым и веселым.

«Эй, лань!» — кричал он на бегу,

А лань все уходила.

Но ночью раз на берегу

Вдруг сном ее сморило.

И тут Геракл ее словил,

Без выстрела, без боя,

И в край, где Еврисфей царил,

Повел ее с собою.

Он был настойчив, терпелив

И дал пример бесспорный,

Что побеждают, проявив

Характер сверхупорный.

Когда прадедушка кончил читать, я сказал:

— Выходит, прадедушка, нет такой героической черты, какую нельзя было бы найти у Геракла. Похоже, он и в самом деле был первый во всем. Но разве его последователи менее доблестные герои? Неистовый кондитер, клоун Пепе и Энрико из Мексики мне даже как‑то ближе.

— Мне тоже, Малый, — улыбнулся прадедушка. — Даже твой Генрих‑Держись мне куда ближе, чем Геракл. Но ведь так и должно быть, Малый! Герой, которому воздвигли памятник из звезд, навсегда останется таким же простым, великим и далеким, как звезды. Это образец. Другие — люди.

Но тут я рассмеялся, потому что и на этот раз, как только мы заговорили о Геракле, нас прервали — пришел дядя Яспер звать нас вниз, ужинать.

Когда слишком много жуешь, можно и устать. А в те дни, когда приходил наш катер, у Верховной бабушки жевали целый день. Вот почему в этот субботний вечер мы все довольно рано расстались друг с другом и разошлись по своим комнатам. Даже дядя Гарри, обычно ложившийся за полночь, поднялся сегодня вместе со мной в нашу с ним спальню. Правда, мне пришлось еще рассказать ему со всеми подробностями, о чем мы сегодня сочиняли с прадедушкой.

Это до того его заинтересовало, что он под конец даже спросил меня, очень ли я устал и могу ли выслушать перед сном еще одну историю. Историю про выдержку и силу воли, свидетелем которой был он сам.

— Ну, хочешь ее послушать, Малый?

Конечно, я хотел — ведь он еще ни разу в жизни не рассказал мне ни одной истории. Мне даже показалось, что я совсем не так уж устал.

И, устроившись поудобнее в теплой постели, я стал слушать.

###### РАССКАЗ ДЯДИ ГАРРИ, МОРЯКА

Тот, кто в мои времена, году этак в 1910, хотел наняться матросом на корабль, оказывался в затруднительном положении: на эту работу находилось больше желающих, чем было нужно. Кроме того, владельцы судов охотнее брали на службу в судовую команду сразу нескольких моряков, хорошо сработавшихся друг с другом. Трое матросов, явившись вместе, скорее могли получить работу, чем один.

Поэтому я тогда сговорился с Карстеном Хайкенсом и Бартом Ользеном наняться на один корабль. Нам уже удалось найти в Гамбурге пароходство, где готовы были нас взять. И вот завтра утром, в восемь часов, все мы должны были явиться в контору.

Но накануне вечером Барт, никогда не отличавшийся хорошим здоровьем, вдруг, как нарочно, заболел гриппом, да с такой высокой температурой, что мы даже за него испугались. Доктор, которого мы к нему привели, сказал, что Барту придется пролежать в постели по крайней мере недели две.

Это расстроило все наши планы, потому что пароходству требовались именно три матроса, хорошо сработавшихся друг с другом. Без Барта Ользена и идти было нечего. Поэтому мы испробовали все виды лечения, и Барту пришлось глотать лошадиные дозы всяких лекарств, чтобы завтра хоть как‑нибудь держаться на ногах. Но на следующее утро в семь часов, когда мы должны были отправиться в контору, оказалось, что температура у Барта ничуть не ниже, чем вчера, а чувствует он себя еще хуже.

— Тогда придется нам отказаться от этой затеи, — сказал Карстен Хайкенс. — Может, найдем потом какой‑нибудь корабль еще получше этого.

Я поддержал его, хотя не имел ни малейшего представления, как мы расплатимся за комнату в гостинице, пока будем ждать этого счастливого случая, — ни у кого из нас не было ни гроша. А еще надо ведь было есть, чтобы оставаться в форме.

Барт, лежа в постели с высокой температурой, как видно, раздумывал примерно о том же. Потому что он вдруг встал, шатаясь и обливаясь потом, и сказал:

— Пошли! Разотрите меня как следует полотенцем. В конторе я уж как‑нибудь разыграю здорового. А пароход отчаливает только еще послезавтра. До тех пор я наверняка встану на ноги.

Положение наше было так безнадежно, что мы, двое здоровых, несмотря на укоры совести, приняли его предложение. Мы растерли Барта махровым полотенцем, напоили его чаем с ромом и отправились все втроем в гавань — в контору пароходной компании.

Уже по пути в гавань Барт чуть не падал с ног. Нам пришлось взять его с двух сторон под руки и поддерживать всю дорогу. Перед дверью конторы мы увидели, что пот катится с него градом, а лицо такое бледное, что, пожалуй, в таком виде его и показывать‑то не стоит.

Тогда Барту пришла в голову идея, чтобы мы выдали его за пьяного. Ведь пьющий матрос скорее подойдет пароходству, чем больной.

Карстен Хайкенс вытер Барту лицо носовым платком и растер ему щеки, чтобы они хоть немного покраснели. Потом мы вошли, с двух сторон поддерживая Барта, в контору, где сидел сам старый скупердяй Раймерс, владелец пароходства. Первый же его вопрос был:

— Что это с ним? Больные мне не нужны.

— Я… я… я хватил немного лиш… лиш… — Барт изображал пьяного очень убедительно.

— Часто это с ним? — спросил нас старый Раймерс.

— Да можно сказать, что никогда, — ответил я чистую правду, Барт и в самом деле был непьющий, — потому на него так и подействовало. Он и выпил‑то совсем немного. У его сестры вчера была свадьба, господин Раймерс.

— Ну да… Герда… — промямлил Барт. У него и сестры‑то никакой не было.

Упоминание о свадьбе как будто немного смягчило судовладельца. Он достал анкеты из ящика письменного стола и начал старательно их заполнять, задавая нам обычные вопросы. Он даже не предложил нам сесть.

Так мы и простояли почти целый час перед его письменным столом, а Барту становилось все хуже и хуже. Когда мы заметили, что он борется с собой, чтобы не потерять сознание, мы встряхнули его и стали как можно громче и веселее подтрунивать над «пьяным». Барт отвечал нам слабым голосом, но все еще продолжая разыгрывать пьяного. Мы все время боялись, что он вот‑вот упадет, а этого нельзя было допустить, потому что в то время существовал неписаный закон: от пьяного моряка требовалось, чтобы он держался молодцом, не то его вышвыривали со службы.

Уж и не помню, как мы выбрались тогда из конторы. Мне и самому чуть не стало дурно — всё это время я поддерживал его и следил, чтобы с ним ничего не случилось. Помню только, что старый Раймерс заполнил по всей форме наши анкеты и принял нас в судовую команду и что Барт, как только за нами захлопнулась дверь, канул на дно, как утлый челн.

Знакомый врач из клиники тропических болезней ругательски ругал нас, узнав, как мы обошлись с Бартом Ользеном. Но этот же врач, человек решительный и смелый, кое‑как подлечил нашего «пьяницу». Два дня спустя он смог вместе с нами подняться на корабль.

В море мы старались делать за Барта всю работу и стояли за него на вахте. Когда мы причалили к Мальме в Швеции, он был уже здоров — даже сошел вечером с нами на берег и выпил стакан грога.

Мы никогда не забывали, какую он проявил выдержку в тот раз, у Раймерса, чтобы не посадить нас на мель. Для Барта Ользена я и теперь, если понадобится, украду паруса с любого корабля, как говорят у нас, моряков.

На этом дядя Гарри закончил свой рассказ, и я снова удивился тому, что, казалось бы, совсем не героические люди при определенных обстоятельствах как бы перерастают вдруг самих себя и проявляют героические качества. У Барта Ользена теперь свой домик, жена, солидный животик, три дочери и много свободного времени, чтобы чесать языком.

Когда дядя Гарри спросил меня, понравилась ли мне эта история о выдержке, я горячо ответил, что да, очень понравилась, и еще добавил, что он очень хорошо и увлекательно ее рассказал.

— В этом доме рассказчики растут как грибы, — сказал я.

Но дядя Гарри возразил, что дело тут совсем в другом:

— На маленьком острове, где, так сказать, всегда стоишь на приколе, надо как‑нибудь коротать время. Тут волей‑неволей начнешь рассказывать истории… Ну ладно, давай гасить свет. Спокойной ночи, Малый!

— Спокойной ночи, дядя Гарри!

Свет погас, и я уснул так быстро, что даже не успел заметить, как устал за этот день, полный всяких историй.

## *Воскресенье,*

*в которое мы завтракаем по‑королевски и беседуем за столом о Зигфриде. Здесь описывается последний подвиг Геракла и излагается история жизни Прадедушки‑Краба. Кроме того, мы знакомимся здесь с любимым героем Старого. А кончается все довольно неожиданно. Итак,*

###### ВОСКРЕСЕНЬЕ

Завтрак на следующее утро был чудовищно обильный и по случаю воскресенья, и потому, что наши моряки возвратились домой.

Надежды их не были обмануты — стол, как говорится, ломился от яств.

Тут были блюда на все вкусы: и соленые, и кислые, и жареная селедка, и маринованная, и копченый окорок, и острые сыры, а поскольку сегодня было воскресенье, то и сладкое — и булочки с изюмом, и повидло всех сортов, и коржики с корицей, и сдобное печенье.

На улице стоял сильный мороз. Холодный ветер сметал редкий снег в невысокие сугробы. Но здесь было хорошо натоплено.

Это было последнее воскресенье перед рождеством. На всем острове стоял запах анисовых пряников и коржиков с корицей.

Все мы были в самом отличном расположении духа, и Верховная бабушка, опять же по случаю воскресенья, ничего не имела против того, что за столом велась беседа о поэтах и героях, о балладах и рассказах. Она даже сделала несколько метких замечаний насчет героев. Только в одном она не допускала никаких возражений, она считала величайшим героем во всей мировой истории непобедимого Зигфрида, владельца знаменитой шапки‑невидимки и волшебного меча.

— И ведь какой был красавец! Какой красавец! — мечтательно повторяла она.

Верховная бабушка явно придерживалась мнения, что герои обязательно должны быть красавцами.

На это прадедушка с благодушной улыбкой заметил, что он лично ничего не имеет против того, чтобы герои были красавцами, но, к сожалению, красота и героизм никак между собой не связаны.

— Если и есть какая‑то связь между мужественным сердцем и прекрасной внешностью, — добавил он, — то она не так‑то проста, и лучше уж нам не браться ее разъяснять. Что же касается Зигфрида, дорогая Маргарита, то он был, без сомнения, очень красивым юношей и прекрасно умел сражаться и скакать верхом на коне. Но героем, по‑моему, Зигфрид не был.

— Что‑о‑о?! — воскликнула Верховная бабушка. — Зигфрид не был героем? Уж не хочешь ли ты быть умнее наших знаменитых поэтов? Разве ты не знаешь прекрасного стихотворения, в котором он воспет?

— Смутно припоминаю, — не без затаенного лукавства ответил прадедушка. — А может, ты помнишь его наизусть?

— Конечно, помню!

Когда речь шла об идеалах, Верховная бабушка была готова на все, даже на декламацию вслух.

И вот мы услышали из ее уст всем нам хорошо известное по хрестоматиям стихотворение Людвига Уланда, знаменитого поэта прошлого века:

###### Меч Зигфрида

Покинул Зигфрид на заре

Отцовский замок на горе.

Ему не много было лет,

Но посмотреть решил он свет.

На встречных рыцарей глядит —

У каждого и меч и щит,

И только Зигфрид, только он,

Дубинкою вооружен.

Вот Зигфрид в темный лес свернул

И слышит дальний звон и гул.

Подходит к кузнице лесной:

Здесь лязг, и блеск, и жар, и зной,

И танец радостный огня…

«Возьми в работники меня!

Меня искусству обучи,

Как острые ковать мечи!»

Взмахнул он молотом разок

И наковальню вбил в песок.

Он плющил сталь, железо гнул,

И шел по лесу звон и гул…

И меч огромный, наконец,

Сковал наш Зигфрид, удалец.

«Теперь я рыцарь, я с мечом,

И великан мне нипочем!

Эй, трепещи, дракон, в лесу,

Тебе я голову снесу!»

Последняя строка в исполнении Верховной бабушки прозвучала как раскат грома. И теперь она с торжеством и вызовом смотрела на прадедушку.

Но Старый сказал с улыбкой:

— Это стихотворение, дорогая Маргарита, как раз подтверждает то, что я хочу сказать. А именно, что Зигфрид — не герой. Он просто очень хорошо владел своим ремеслом.

— Ремеслом? — переспросила Верховная бабушка, нахмурившись.

— Да, ремеслом воина. Вот и все. Если хотите, я могу подтвердить это одним стихотворением.

— Кто его сочинил? — язвительно спросила Верховная бабушка. — Какой‑нибудь знаменитый поэт или ты сам?

— Я сам, — скромно ответил прадедушка. — Может быть, несмотря на это, ты его все‑таки послушаешь, Маргарита?

— Больше мне ничего не остается, — вздохнула она.

И тогда прадедушка — негромко и просто, совсем не так, как Верховная бабушка, — прочел стихотворение:

###### Юный Зигфрид

Идет о Зигфриде рассказ

С великим множеством прикрас,

И сомневаюсь я порой:

А впрямь ли Зигфрид был герой?

Имел как баловень судьбы

Он все условья для борьбы:

Он приобрел волшебный меч,

Обучен был рубить и сечь.

Он понимал язык зверей:

Его гонцом был воробей,

А также заяц, и олень,

И волк, и всяк, кому не лень.

И шапкой‑невидимкой он

На всякий случай был снабжен.

В непробиваемой броне

На самом быстром скакуне

Скакал он смело на врага.

Но так ли смелость дорога,

Когда от всех напастей он

Был столь надежно защищен?

Геройством занят был герой,

Как шахматист своей игрой,

И заменяло мастерство

Геройский подвиг у него.

Тут в заблужденьи целый свет…

А был героем Зифгрид? Нет.

Верховный дедушка, дядя Яспер и дядя Гарри усиленно жевали, склонившись над тарелками. Я заметил, что они не хотят ничего говорить, пока не сказала своего слова Верховная бабушка. И она не замедлила его сказать, причем неслыханно кротким голосом.

— Знаменитый поэт, — сказала она, — называет Зигфрида героем и доказывает это не так сложно, как ты. Не кажется ли тебе это забавным?

— Нет, Маргарита, — не менее кротко возразил ей прадедушка, — мне кажется это вполне естественным. Тот, кто что‑нибудь утверждает, ну, скажем, что Зигфрид — герой, может высказать это коротко и ясно, без подробных объяснений. Вот, например, как Уланд в своем стихотворении. А тот, кто хочет это опровергнуть — и не просто так, что нет, мол, все совсем не так, а как раз наоборот, — тому приходится обстоятельно доказывать, что утверждение было неверным.

Прадедушка оперся о стол, с трудом выпрямился и, расхаживая медленным шагом от стола до двери и обратно, закончил свою мысль:

— Утверждать что‑либо может всякий дурак — я не хочу, конечно, этим сказать, что поэт Людвиг Уланд был дураком, — но опровергнуть утверждение — это уже требует кое‑какой смекалки. Нам с Малым приходится здорово шевелить мозгами, чтобы опровергать одно за другим все нелепые и бездумные утверждения о героях.

Вдруг прадедушка остановился, с удивлением посмотрел на нас и спросил:

— Что это с вами? Почему вы все на меня так уставились?

— Потому что ты ходишь, прадедушка! — сказал я.

— Батюшки! — Старый хлопнул себя по лбу. — Я и позабыл, что собирался утаить это от вас. Уж так мне пришлась по нраву моя каталка — никто к тебе не пристает…

— А сам ты пугаешь других сколько хочешь, — ядовито заметила Верховная бабушка.

Старый, тяжело опустившись на стул, ответил:

— Только не преувеличивай, Маргарита! Никогда я тебя ничем не пугал. Просто радовался, что могу спокойно посидеть в кресле, предоставленный своим мыслям. Правда ведь, Малый?

Я кивнул, но не мог удержаться от вопроса, с каких же пор он снова начал ходить.

— Собственно, только с позавчерашнего дня, — ответил Старый. — Но я понемножку упражнялся каждый день. В мои годы нельзя чересчур доверяться покою, а то еще закоснеешь.

— Кто заботится о своем здоровье, тот не закоснеет, — набросилась на него Верховная бабушка. — А кто в твоем возрасте резвится, как молодой жеребчик, с тем — смотри, отец! — как бы не случилось того же, что случилось со старым богатырем в балладе.

— Что ж такое с ним случилось, Маргарита?

Тут Верховная бабушка продекламировала:

Еще раз встал, собрав остаток силы,

Наш старый богатырь, в последний раз.

И рухнул вновь. Безмолвие могилы.

Выносят хладный труп. То пробил час.

Прадедушка весело расхохотался.

— Ты всегда все рисуешь в черном свете, — упрекнул он дочь. — Потому что ты обо всех о нас беспокоишься, Маргарита. Это я понимаю.

Несмотря на бурные пререкания, это был мирный, веселый завтрак в зимнее солнечное утро. Верховный дедушка, справившись с селедкой и отведав окорока, с явным удовольствием слушал этот спор, а уж дяде Гарри с дядей Яспером он никак не испортил аппетита. Да и я с интересом следил за этой добродушной перебранкой.

Но конец баллады о старом великане, который еще раз подымается, прежде чем рухнуть, снова пробудил во мне смутную тревогу за прадедушку. Словно где‑то вдали ударили в набат.

После завтрака мы отправились вдвоем на чердак, и Старый стал взбираться по лестнице тяжелым, но уверенным шагом.

И все же в голове моей засела мысль, что прадедушка ради меня незадолго до конца своей жизни еще раз собрался с силой, чтобы пройти со мной вместе по галерее истинных и ложных героев. Мне представилось вдруг, что он жертвует собой ради меня.

Эта мысль захватывала меня все больше и больше, и когда мы, добравшись до южной каморки, занялись сочинением, у меня получился целый рассказ.

Прадедушка высказал опасение, что теперь, раз мы оба снова научились ходить, меня, пожалуй, поспешат отослать домой, к родителям. Значит, пора нам, так сказать, подвести итог нашему исследованию героизма.

— Я предлагаю, — сказал он, — чтобы каждый изобразил в рассказе своего самого любимого героя.

С этим я согласился.

И, поглядывая через окошко каморки на серое море, стал писать на оборотной стороне обоев рассказ о Прадедушке‑Крабе. А прадедушка в это время, положив гладильную доску на ручки кресла‑каталки, тоже писал рассказ о своем любимом герое.

Писали мы долго. Даже после обеда мы все еще продолжали исписывать свои рулоны. И все же закончили раньше, чем пришлось зажечь свет.

С нетерпением ожидал я прадедушкиного приговора и хотел было, как всегда, тут же начать читать, но Старый сказал:

— Давай‑ка уж закончим наше исследование героизма, Малый, по всем правилам. Я не раз читал тебе про подвиги Геракла, чтобы привести пример героизма и напомнить образ героя древних времен. Давай‑ка я и сегодня поведаю тебе о последнем его знаменитом деянии, а потом уж мы познакомим друг друга с нашими новыми героями. Согласен?

— Согласен! — ответил я.

И вот снова раскрылась тетрадь в черной клеенчатой обложке, и прадедушка прочел:

###### Баллада про Геракла и три райских яблока

Геракл был смел и полон сил,

И, как гласит преданье,

Геройский подвиг совершил,

Великое деянье.

Царь Еврисфей приказ отдал,

Чтоб дар принес он редкий:

Три райских яблока сорвал

В раю с высокой ветки.

Но только смертным — вот беда —

Путь в райский сад неведом.

Поговорить решил тогда

Геракл с Нереем‑дедом[[13]](#footnote-13).

Но тот, увертливей змеи,

Забыв свое величье,

Вдруг начал принимать свои

Различные обличья.

То встанет огненной грядой —

Герою не до смеха! —

То разливается водой —

Опять в борьбе помеха.

«Ну, справлюсь я со стариком —

Сглотну его как воду!»

А тот уж красным языком

Взвился, сменив природу.

Геракл, однако, победил:

От ярости зверея,

Рассек он, дунув что есть сил,

Напополам Нерея.

И снова старец перед ним.

Пристыженный немного,

Он тут же, цел и невредим,

Стал объяснять дорогу.

И вот край света, где как раз,

Пыхтя, вздыхая тяжко,

Держал громадина Атлас

Небесный свод, бедняжка.

Атлас сказал: «Три яблока

Нужны вам до зарезу?

На, подержи‑ка свод, пока

Я в райский сад залезу!»

Геракл ответил: «Я готов!» —

И свод на плечи вскинул.

И так он несколько часов

Стоял, согнувши спину.

Когда ж Атлас, проведав рай,

Вернулся в упоенье,

«Ну, держишь небо? Продолжай!» —

Он крикнул без стесненья.

«Да, дело дрянь, куда ни кинь! —

Геракл стряхнул усталость. —

Ты только небо мне подвинь

На серединку малость!»

Но не успел Атлас поднять

Небесный свод немного,

Как наш герой — чего там ждать? —

Пустился в путь‑дорогу.

Подняв три яблока с земли,

Он их понес скорее

На тот, другой конец земли,

Где царство Еврисфея.

Вот наконец его дворец.

Царь вышел за ворота:

«Принес?» — «Принес!» — «Ну, молодец!

Возьми их за работу!

Все! Ты свободен!» — «Хорошо!» —

Успел Геракл ответить

И тут же снова в рай пошел:

«Отдам им фрукты эти!»

И вот — напрасны все труды! —

Он их вернул обратно.

Но первым райские плоды

Добыл Геракл. Понятно?

В последний раз захлопнулась черная клеенчатая тетрадь, в которой, как мне казалось, уместилась вся жизнь Геракла, все его подвиги и страдания.

Прадедушка отложил тетрадь на комод, где лежали «Морские календари», и спросил:

— Ну, что ты скажешь об этом приключении?

— Веселое, только очень уж длинное, прадедушка.

— Ну, — улыбнулся Старый, — это я еще здорово его сократил.

— Почему, прадедушка?

— Потому что вокруг этого приключения Геракла обвились, словно лианы, бесчисленные мифы, предания и легенды. Я их отсек. И осталась только история про райские яблоки.

— А зачем вся эта история, прадедушка? Столько трудов и усилий, а зачем? Все равно потом пришлось возвращать яблоки обратно!

— Так ведь самому Гераклу, Малый, эти яблоки были ни к чему. Он их добыл по поручению Еврисфея.

— Да и тому‑то они тоже были не нужны! — с недоумением возразил я.

— Вот именно, Малый. В том‑то и дело. В сущности, эти яблоки были вообще никому не нужны. Героический подвиг совершался подчас во имя самого героического подвига и вызывал восхищение. Даже если не имел смысла и не приносил никакой пользы. Он восхищал своей красотой. Как ваза. Как картина. Как статуя.

— Но ведь героический подвиг без смысла — это просто глупость, прадедушка.

— Я тоже так считаю, Малый! Но древние греки, высоко ценившие красоту, так не считали. И все же они тоже, как видно, заметили, что с этим идеалом героя что‑то не так. Вот последние подвиги Геракла — правда, в моей тетради их нет, — они совсем другие, Малый. Он якобы служил лидийской царице Омфале и прял ей шерсть, а она тем временем разгуливала в его львиной шкуре. А потом он погиб в муках от яда, которым натерла его плащ ревнивая жена, и под грохот грома, в блеске молний взлетел на небо, где стал полубогом.

— Так что же, прадедушка, был он все‑таки героем, Геракл, или нет?

— На этот вопрос мне придется дать тебе три разных ответа, Малый. Как человек, он, в сущности, был вроде Зигфрида, профессиональным героем, — это было его ремесло. В глазах древних греков Геракл, отважившийся спуститься даже в мрачное царство мертвых, нередко бывал героем. Как миф, он ни то, ни другое — он словно солнце, то прекрасное, то зловещее.

Выслушав этот сложный ответ прадедушки, я некоторое время сидел задумавшись на оттоманке. Потом сосчитал вслух на пальцах:

— Геракл — человек, Геракл — образец, Геракл — миф. Может, прадедушка, ты мне еще разок это растолкуешь?

— Нет, Малый, не хочу, а может, и не могу. Я просто хотел показать тебе древний образ героя таким, как он сохранился, с выбоинами и трещинами. Но вообще‑то мы ведь с тобой собирались поговорить про людей. А среди людей нет героев от рождения и героев по профессии. Человек невольно попадает в положение, которое требует от него героических качеств. Поведет ли он себя при этом как герой, зависит от него самого. Мне кажется, мой рассказ показывает это довольно ясно.

— И мой, мне кажется, тоже, прадедушка.

— Тогда читай ты первый, Малый. Но сперва подбрось‑ка угля в печку и зажги свет.

Я сделал то, что он просил, а потом развернул на столе рулон и стал читать:

###### ИСТОРИЯ ЖИЗНИ ПРАДЕДУШКИ‑КРАБА

Неподалеку от одного островка жил на подводном камне старый‑престарый краб по имени Крапп. Благодаря своему возрасту и мудрости он пользовался большим авторитетом среди других крабов, и они даже почтительно называли его «господин Крапп». Ну и мы будем его так называть.

К сожалению, камень, на котором жил господин Крапп, был опасным местом для крабов. Рыбаки с ближнего острова каждое лето спускали рядом с ним в море садки для ловли крабов, а в садки эти клали для приманки самый лакомый корм. И крабы сбегались сюда целыми стаями. Многим из них пришлось здесь проститься с жизнью, потому что они совсем потеряли голову от вкусного запаха.

Ни одному крабу, попавшему в эту ловушку, еще ни разу не удалось выбраться из нее на свободу. На следующее утро садок вместе со всеми заползшими в него крабами подымали наверх, и, когда он оказывался над водой, краб, схваченный за покрытую панцирем спинку заскорузлой рукой рыбака, летел на берег в ведро. А потом его продавали, варили и, когда он становился ярко‑красным, поедали под майонезом.

Только господин Крапп, старый мудрец, знал, что случается с теми крабами, которые попадают в садок. Он неустанно предостерегал своих младших сородичей от опасности и, пуская в ход все свое красноречие, уговаривал их не идти на приманку.

Но его предупреждения были напрасны.

Голод и неведение делали свое дело, и многие сотни крабов каждое лето попадали в садки, а затем в котелки и кастрюли.

Господин Крапп всякий раз подводил юных и старых крабов к садкам и показывал им через сеть на пленников, которые, наевшись досыта, до отвала, стонали и вопили, напрасно умоляя выпустить их отсюда. Но тот, кто сюда попал, был обречен.

Как это ни печально, предупреждения господина Краппа не избавляли крабов ни от голода, ни от неведения. По правде сказать, он бросал слова на ветер, а выражаясь точнее, в воду: вкусный запах продолжал привлекать в садки все новые и новые полчища крабов. «Да что он может знать о жизни там, наверху, господин Крапп, — уговаривали они себя, — не исключено, что там нам будет даже очень неплохо!»

Но у господина Краппа был правнук, неглупый крабенок по имени Краппи. Этот крабенок был единственным крабом, слушавшим советы прадедушки, — он старательно обходил все ловушки.

Однако в то лето, о котором идет рассказ, с кормом обстояло особенно плохо, и Краппи был не в силах противостоять соблазнительному запаху из садка, щекотавшему его нюх.

— Погляди‑ка, прадедушка, — сказал он господину Краппу, — вон сколько крабов забралось в садок; они наедаются досыта, и никто их не трогает. Может, ты заблуждаешься и с ними не случится ничего плохого?

— А ты подожди, — со вздохом отвечал господин Крапп, — пока они отвалятся от еды и начнут искать выход на волю. Тогда и станешь поумнее!

Но юному Краппи в этот день так хотелось есть, а на пустой желудок так трудно быть рассудительным. Впервые он усомнился в словах прадедушки и твердо решил залезть в садок, чтобы наесться досыта.

Когда господин Крапп заметил, что его предостережения больше не помогают, он очень огорчился и сказал:

— Прежде чем ты полезешь в садок, дорогой Краппи, я сам залезу в эту адскую ловушку, чтобы мой пример послужил тебе предупреждением.

Господин Крапп втайне надеялся, что слова его испугают Краппи и тот возьмется за ум.

Но какой уж тут ум, когда в брюхе пусто! И голодный Краппи сказал:

— Полезай, прадедушка, в садок с кормом. Вот увидишь, совсем это не опасно. Скоро ты и меня позовешь!

И добрый старый краб, с тяжелым сердцем, с трудом переваливаясь, пополз прямо в садок, упал, согласно хитроумным расчетам людей, на самое дно и оказался в ловушке.

— Ну, прадедушка, — крикнул ему через сетку Краппи, — разве это опасно? Почему ты не набрасываешься на корм?

— Корм мне больше не нужен… — вздохнул старый краб. — Вскоре, может быть даже завтра утром, меня не станет. А тот, кто стоит на пороге смерти, не чувствует голода.

Теперь молодому крабу стало ясно, что господин Крапп предупреждал его не зря. Он вдруг так испугался за прадедушку, что крикнул:

— Не говори так! Скорей вылезай! Я тебе помогу!

— Слишком поздно, — ответил из садка господин Крапп. — Мне уже никогда отсюда не вылезти, даже с твоей помощью, Краппи. Но не печалься. Я стар и все равно прожил бы недолго. Прощай! Впредь придется тебе предупреждать крабов о коварстве людей.

Краппи хотел было ему что‑то ответить, даже длинные клешни его задрожали от волнения… Но в это мгновение садок поднялся вверх, и прадедушка исчез навсегда из его поля зрения и из его жизни.

С тех пор Краппи стал, как раньше его прадедушка, предупреждать крабов об опасности. Он становится у них на пути, когда они, подгоняемые голодом, спешат к садкам. Кое‑кого ему удается спасти. Но большинство попадает в ловушку, а потом в котел, а потом под майонез. И все‑таки это хорошо, что среди крабов опять есть один такой, каким был старый господин Крапп. Значит, он погиб не зря — Краппи все понял.

Когда я кончил читать, прадедушка поглядел на меня, склонив голову набок. Потом он сказал:

— Старый краб, который жертвует собой ради других, конечно, герой, Малый. Без сомнения. Но если это имеет какое‑нибудь отношение к нам с тобой и ты думаешь, что я каким‑то образом жертвую собой ради тебя, то ты заблуждаешься. Я не герой. Жизнь ни разу не потребовала от меня подвига.

Я поспешил заверить Старого, что, сочиняя этот рассказ, думал больше о самом рассказе, чем о нас с ним. Я и сам только сейчас заметил, что рассказ этот подсказали мне мои опасения за прадедушку и что он все‑таки как‑то касается нас обоих.

Старый поверил мне и, как добросовестный исследователь героизма, признал господина Краппа истинным героем. Даже образцом героизма:

— Невольно, а вернее, против своей воли, Малый, он стал героем. Но, раз приняв решение, пошел на подвиг спокойно, пожертвовал собой и выдержал все, что приходится выдержать тому, кого бросают живьем в кипяток. Мой герой, Малый…

Но в это мгновение снизу донесся голос Верховной бабушки. Она звала нас пить кофе, и прадедушка не успел сказать мне ничего о своем герое. Пришлось нам снова спуститься с высот на землю, где правят домашние хозяйки. Но мы проделали это не без удовольствия. Ибо исследователи и поэты так же любят хрустящее домашнее печенье, как и моряки.

Как и предвидел прадедушка, Верховная бабушка уже подумывала о том, что пора отправить меня домой, к родителям. Не то чтобы она сказала нам это прямо в лицо, но то и дело намекала, что оба мы уже встали на ноги, и что топить каждый день чердак — слишком большая роскошь, и что жизнь, в конце концов, состоит не из одной поэзии.

Моряки улыбались и подмигивали нам при каждом таком замечании — Верховная бабушка высказывала их по одному, на приличном расстоянии одно от другого, пока все чинно сидели за столом, попивая кофе. Казалось, и прадедушку они забавляли. Но меня как‑то тревожила эта их вера в выздоровление прадедушки. У меня ее не было. Я был уверен, что он только притворяется здоровым и что на самом деле состояние его хуже, чем когда‑либо раньше. Я видел, как дрожит его рука, когда он подымает чашку с кофе. Лучше уж ему не читать мне сегодня своего рассказа, а лечь в постель и вызвать врача. Но никто, кроме меня, казалось, ничего не заметил.

Выйдя из‑за стола, Старый сам взобрался по лестнице на чердак в самом веселом настроении и, спеша представить мне своего героя, с удовольствием плюхнулся в кресло, словно никакой болезни не было и в помине.

— То, о чем я хочу тебе прочесть, — сказал он, — происходит в давние времена в Черногории. Я и сам когда‑то там побывал. Народ там был очень воинственный. Там я и встретил настоящего героя… Может, подбросим угля в печку?

— Не надо, прадедушка. Пока ты будешь читать, еще и этот не прогорит!

— Ну хорошо, тогда слушай.

И, не снимая рулона с гладильной доски, прадедушка начал читать:

###### РАССКАЗ ПРО МАЛЬЧИКА

В Черногории, стране Черных гор, жил когда‑то Блаже Брайович — мальчик с большими черными глазами. Из всех своих сверстников он один умел читать и писать — этому искусству обучил его по его просьбе местный священник.

Другие мальчики его возраста мечтали поскорее отрастить усы и получить ружье в руки. А у Блаже было только одно желание — побольше узнать.

Отец Блаже, Раде, — человек исполинского роста, плечистый и плотный, — которому пистолет и ружье были так же дороги, как курильщику трубка, называл своего сына ягненком. И частенько задавал себе вопрос: «Что же с ним будет, когда придут волки?»

Волками он называл не турок, против которых жители Черных гор вели партизанскую войну, а таких же черногорцев, как и он, — мужчин из рода, с которым его собственный род находился в постоянной вражде. Мужчины одного рода убивали мужчин другого рода из мести, за убийства, совершенные раньше. Мстить женщинам и детям считалось позором — только убийство мужчины давало право считать, что убитый отмщен. И мужчины гибли один за другим. Мать Блаже и две его старшие сестры испуганно умолкали и прерывали работу, услышав выстрел в горах, — могло случиться, что пуля попала не в медведя, не в зайца, а в Раде, мужа и отца.

Когда Блаже был еще маленьким, он тоже пугливо вздрагивал, услыхав эхо выстрела, долетевшее из скалистых ущелий. Но когда он стал постарше и уже научился писать и читать, то перестал так бояться за отца. Он понял, что отец его не только яростен и неистов в бою, как бык, но еще и хитер, как лиса. Судьба отца теперь не так его тревожила. Зато с каждым годом он все чаще и чаще задумывался над тем, что мужчины, вооруженные до зубов и занятые местью, целыми днями пропадают в горах, преследуя своих кровных врагов, а вся работа по хозяйству, возделыванию земли и воспитанию детей возложена на плечи женщин. Часто он лежал в своем белом суконном гунне[[14]](#footnote-14) с черной каймой под гранатовым деревом и читал книгу. А когда поднимал глаза и глядел вверх на листву и на медленно краснеющие плоды, ему вспоминался веселый дядя Петар, брат его матери. В то солнечное утро здесь, под этим деревом, он кричал и шатался, как пьяный. Прижимая руки к груди, он упал на траву, крикнув: «Отомстите за меня! Это были…»

Голос его оборвался, прежде чем он успел назвать убийц, и когда женщины выбежали из дому, он был уже мертв.

Тогда Блаже охватил священный гнев. Он знал, кто убийцы, хотя дядя Петар и не смог произнести их имен. Они могли быть только из рода Джурановичей, с которым род Блаже находился в кровной вражде.

И над трупом дяди Блаже поклялся, что потом, когда у него будет ружье, он отплатит кровью за кровь дяди Петара.

Но убийцу еще раньше настигла кара, и дядя Петар был отмщен. Отмстил отец Блаже, Раде, он заколол убийцу ножом, встретив его в горах на лесной тропинке. Тогда Джурановичи убили младшего брата отца, молодого красавца дядю Леку.

Теперь нужно было мстить уже не за дядю Петара, а за дядю Леку. Распря продолжалась, и не было никакой надежды, что она когда‑нибудь кончится.

И Блаже с ужасом думал о том, что, наверно, наступит день, когда ему придется убить ножом или застрелить из ружья маленького Иво, с которым раньше они часто ловили вместе в ручье форелей. Тогда Блаже еще не знал, что Иво из рода Джурановичей, с которыми его род в кровной вражде.

Блаже не находил больше никакого смысла в этой кровавой игре. Он не хотел в ней участвовать. Эта карусель мести его не привлекала.

И потому никто не был так счастлив, как он, когда отец в один прекрасный день объявил, что в следующую пятницу Джурановичи и Брайовичи соберутся на лугу для переговоров о прекращении распри.

— Как же это случилось, отец? — спросил Блаже, покраснев от радости и волнения.

— Кто‑то из Джурановичей застрелил твоего двоюродного дедушку, Марко. Я мог бы отомстить за него еще в тот же день…

— Но ты этого не сделал? — перебил отца Блаже.

— Нет, я этого не сделал. Брат трижды проклятого убийцы попросил у меня прощения. Он сказал, что пора нам заключить мир.

— И ты заключил мир? — радостно крикнул Блаже.

— Нет, сын мой, я этого не сделал. Как же я могу один заключить мир за весь наш род? Я только посчитал, сколько мужчин еще осталось у нас и сколько у Джурановичей. И понял, что, если не прекратится кровавая распря, оба наши рода скоро вымрут. Поэтому нам нужно отказаться от мести и заключить мир, хотим мы этого или не хотим. В пятницу мы все соберемся для переговоров. Ты поведешь моего коня.

— Хорошо, отец, — ответил Блаже и опять покраснел от радости.

Переговоры велись на лугу под крутой скалой. Был полдень.

Солнце стояло высоко. Воздух был сух и горяч. Согласно обычаю, сюда явились все: женщины — в черном, дети — в белом, мужчины — в ярких костюмах и красных жилетах; у некоторых за цветной пояс было заткнуто по два пистолета.

Каждая семья соблюдала порядок, предписанный обычаем: глава семьи ехал верхом, старший сын вел коня под уздцы, остальные члены семьи шли пешком вслед за конем.

Без особой охоты, чуть ли не самым последним, явился сюда исполин Раде со своей семьей. Он сидел в высоком седле на черном жеребце, которого вел под уздцы Блаже. Подъехав к Брайовичам, расположившимся на левой стороне луга, он остановил коня. Теперь он был старшим в роде Брайовичей.

Ловко спрыгнув с коня, несмотря на свои пятьдесят с лишним лет, Раде сел на большой камень, с которого молча встал при его приближении какой‑то молодой человек. Даже теперь он казался выше всех Брайовичей.

Поздоровавшись кивком со своими, он бросил быстрый взгляд в сторону Джурановичей, сидевших на другой стороне луга, и пробормотал:

— Провались они все в преисподнюю!

— Тогда и мы провалимся вместе с ними, Раде, — негромко возразил ему пожилой пастух.

— Да, — отвечал ему Раде, — и все мы провалимся в преисподнюю, если не покончим с распрей. Для того‑то мы здесь и собрались. И податься нам некуда.

Когда начались переговоры, в которых имел право участвовать каждый глава семьи, первым стал говорить Раде. Вскоре он уже оказался на середине луга и от имени своего рода повел переговоры с Джурановичами.

Как раз в тот момент, когда отец вышел на середину, Блаже заметил на том краю луга среди Джурановичей Иво, своего бывшего товарища по играм, и кивнул ему головой. Иво широко раскрыл глаза от удивления — он или не сразу узнал Блаже или был поражен тем, что с ним здоровается кто‑то из враждебного рода. Но потом кивнул ему в ответ. Так мальчики заключили мир задолго до того, как взрослые закончили переговоры.

Время для перемирия было неблагоприятным — оба рода еще оплакивали убитых: убийству Марко, дяди Раде, предшествовало убийство одного из Джурановичей. Слишком свежа была еще боль и печаль, а переговоры требовали благоразумия и выдержки. С трудом подавляемая ненависть против убийц могла вспыхнуть каждую секунду.

Но Раде, отец Блаже, поборов свой собственный гнев, держал в узде и других. Когда стенания об убитых отцах, мужьях и братьях начали становиться громче, когда оба рода стали обвинять убийц и перечислять погибших, он поднял вверх руку и, дав замолчать и тем и другим, крикнул:

— Мы собрались здесь не для того, чтобы считать мертвых и распалять свой гнев! Мы собрались, чтобы оба наши рода не зачахли, как трава в засуху. Оглянитесь вокруг! Сколько здесь жен без мужей! Сколько детей без отцов! И у вас и у нас хватит оружия и найдутся еще храбрецы, у которых не дрогнет рука, чтобы и всех остальных женщин сделать вдовами, а детей — сиротами. Мы хотим заключить мир не из страха и не из слабости, а по здравому размышлению. Если прошлое одержит здесь над нами победу и мы заговорим друг с другом не словами, а свинцом, не видать нашим родам будущего! Ни Джурановичам, ни Брайовичам! Наши семьи вымрут, и от каждого рода останутся лишь горькие вдовы, проклинающие своих мужей!

Блаже не сводил глаз с отца. Он никогда еще не слышал, чтобы тот так говорил. Ему казалось, будто отец, удар за ударом, разбивает тяжелую цепь, которой все они скованы. Ему хотелось вскочить и обнять отца. Но здесь это вызвало бы только смех.

Впрочем, многие из собравшихся были благодарны Раде за его речь. И когда он, широко разведя руками, обратился и к тому и к другому роду с призывом: «Кто за мир, встаньте!» — они тут же вскочили на ноги, а за ними поднялись и все остальные. Так стояли рядом Джурановичи и Брайовичи — словно несжатое поле раскинулось под скалой.

— Да будет мир! — провозгласил Раде, подняв руки. Но не успел он еще их опустить, как старая Анджа из рода Джурановичей, мать последнего убитого, крикнула:

— Нет! Не будет мира, пока не отмщен мой сын!

— Но ведь он уже отмщен, мать, — сказал ее младший сын, стоявший с ней рядом. Сама она все еще продолжала сидеть на земле.

— Как же отмщен, когда его убийца жив! — пронзительно взвизгнула старуха. — Я знаю его убийцу. Вот он стоит!

И, встав во весь рост, она указала рукой на молодого человека из рода Брайовичей. Затем она снова опустилась на землю и с усмешкой, исказившей ее морщинистое лицо, крикнула своему сыну:

— Только трус не мстит за своего брата! Только подлец боится смерти больше, чем позора!

Все стояли еще, словно застыв после этого выкрика, когда сын Анджи выхватил пистолет из‑за пояса и, почти не целясь, спустил курок.

На звук выстрела скала ответила эхом. Но рев толпы заглушил его. Мужчины схватились за револьверы, дети заплакали, женщины ловили руки мужей, пытаясь помешать им стрелять. Еще мгновение, и завоеванный с таким трудом мир снова превратился бы в кровавую распрю, если бы Раде, подняв руки вверх, не прокричал, обращаясь к своим:

— Кого ранило?

Его вопрос был услышан — он заглушил нарастающий шум.

И вдруг наступила тишина — все ждали ответа.

Но никто не отвечал. Стало так тихо, что можно было расслышать доносившееся издалека блеяние козы.

Тогда Раде обратился к Джурановичам:

— Если бы пуля попала в кого‑нибудь из наших, ты лишилась бы и младшего сына, Анджа. Ты хочешь, чтоб это продолжалось и тебе никогда не пришлось бы петь песен над колыбелью внука? Ты хочешь помереть, не оставив потомства, быть трухлявым деревом, на котором уже не распустится ни один листок? Твой сын не трус. Мы все это знаем. Ты велела ему продолжать войну, и он выстрелил. Теперь прикажи ему заключить мир. Вставай!

Женщина медленно поднялась с земли. Лицо ее было замкнуто, губы плотно сжаты, глаза с недоверием шарили по примолкшей толпе. Она не проронила ни слова. Но она встала. Самая последняя.

И тогда Раде опять повторил, обращаясь ко всем:

— Да будет мир!

Мир был заключен. Многие снова сели на землю, другие все еще стояли, продолжая разговаривать. Некоторые даже, отделившись от своих, медленно двинулись в сторону недавних противников.

Старая Анджа первая покинула луг, не сказав ни слова своему сыну. Вскоре за ней последовали и другие, чтобы еще раз обсудить за бутылкой вина события этого дня.

Семьи, в которых еще были живы отцы, согласно обычаю, уходили с луга целой процессией: впереди глава семьи верхом на коне, которого ведет под уздцы старший сын, следом за ними, пешком, все домочадцы.

В таком же порядке собирался тронуться в путь со своей семьей и Раде. Он велел своему сыну Блаже взять под уздцы коня, но тот ответил:

— Я не могу, отец. Придется тебе посадить меня в седло.

— Что‑о? — поразился Раде.

И только теперь он взглянул на сына, сидевшего на траве. Тот был очень бледен и, как‑то странно согнувшись, наклонился вперед.

— Что с тобой? Тебе дурно? — нетерпеливо спросил отец.

Этот крепкий, здоровый человек никогда не болел сам и не признавал никаких болезней у других. Но мальчик и в самом деле выглядел плохо. В лице его не было ни кровинки, глаза блестели.

— Что с тобой? — повторил Раде уже не так резко. Он даже нагнулся и положил сыну руку на лоб. Лоб его горел. Блаже лихорадило.

Теперь Раде забеспокоился.

— Что случилось? — спросил он в третий раз.

Тогда его сын приподнял немного край белого гуня, и Раде увидел, что мальчик зажимает рукой рану. Его пальцы и рубашка были в крови.

Раде выпрямился и, с изумлением глядя на сына, спросил:

— Ты ранен?

— Да, — ответил Блаже. — В меня попало. — И, опустив край гуня, добавил: — Но никто не заметил. И никому не говори. Увези меня отсюда. Военный врач из Подгорицы быстро меня вылечит.

Отец в растерянности смотрел на сына, сгорбившегося в траве. У него было смутное чувство, что этот мальчик — герой. Но героев, которые страдают и молчат, он никогда еще не видел. Он чувствовал, что в нем поднимается гнев против этого молчаливого страдальца. И гнев против того, кто в него стрелял, — сына старой Анджи. И гнев против Джурановичей. И гнев против только что заключенного мира, который мешал ему теперь поднять ружье и отомстить за сына.

— Почему ты не сказал об этом раньше? — сурово спросил он.

— Тогда бы не было мира, отец.

— Мир, купленный ценою крови ребенка… Какой же это мир, Блаже?

— Военный врач меня вылечит. Вот увидишь, отец. А зато сколько людей будет спасено…

Раде вдруг заметил, что мальчик тяжело дышит и вот‑вот потеряет сознание от боли. И он понял, что врач сейчас важнее, чем честь, гнев, месть и все долгие разговоры. Не говоря ни слова, он поднял Блаже, посадил его на своего коня и спросил:

— Ты можешь держаться одной рукой?

Блаже кивнул.

Тогда Раде позвал женщин, разговаривавших неподалеку от них с соседками, и сказал им:

— Пошли! Последите за мальчиком. Ему срочно нужен врач.

И прежде чем женщины успели задать ему хоть один вопрос, он взял коня под уздцы и повел его через луг к дороге. Все, кто еще не успел разойтись, с удивлением смотрели на невиданную картину: глава семьи, человек огромного роста, воинственный и гордый, вел под уздцы коня, на котором сидел верхом его сын, безусый мальчишка.

Какой‑то шутник из рода Джурановичей крикнул им вслед:

— Ты что думаешь, Раде, раз мир, так ягнята впереди стада идут?

Не останавливаясь и не поворачивая головы, Раде ответил:

— Этот ягненок заплатил за ваш мир своей кровью, Джуранович! Сын Анджи ранил его, а он и не пикнул, чтобы не нарушить этот чертов мир!

Теперь, узнав, что случилось, мать и сестры Блаже громко заплакали. Мужчины, стоявшие вокруг, с изумлением и уважением смотрели на мальчика в седле. И когда старый пастух снял перед ним шапку, все последовали его примеру.

Когда прадедушка дочитал свой рассказ и обои сами собой свернулись у него в руках в трубку, мне и самому захотелось снять шапку — только у меня на голове ее не было.

Как непохож был мой «героический подвиг» на подвиг мальчика из Черногории, который готов был отдать свою жизнь, чтобы удержать взрослых от бесконечных убийств. И как одинок он был со своей раной, со своей болью и с мыслью о том, что, может быть, сделал что‑то не так!

Именно этим, как видно, и восхищал Блаже Брайович моего прадедушку.

— Маленький Блаже, — сказал он, — не умел обращаться с оружием и был робок даже в речах. Это был герой, не похожий на все обычные в его кругу представления о героях. Но те, кто на лугу сняли перед ним шапки, сами того не ведая, признали его героем.

Прадедушка прикрыл ладонью глаза — видно, чтение его утомило — и закончил:

— Любовь к людям хоть и выглядит часто внешне беспомощно и совсем не героически, в конце концов всегда побеждает. Ненависть может быть хороша и целительна. Тот, кто любит людей, должен ненавидеть тиранов. Но человеколюбие, просто любовь, больше, величественнее и прекраснее ненависти, Малый!.. А теперь я немного вздремну, пока Верховная бабушка опять не позвала нас к столу.

Старый устроился поудобнее в своей каталке и откинулся на спинку с таким видом, словно он сказал все и не ждет больше ни вопросов, ни возражений. Поэтому я спустился по лестнице на нижний этаж.

Но когда я, стоя на последней ступеньке, хотел было уже войти в гостиную, я услышал голоса моих родителей и других наших родственников. Разговор шел опять про нас, поэтов. Я остановился и стал подслушивать.

Я услышал, как мама сказала, что она тоже не прочь почитать наши стихи и рассказы, а Верховная бабушка ответила:

— Вот как Малый переберется к вам, приходи, все посмотришь. Они писали на обоях, на тех, забракованных, что я на чердак вынесла. На оборотной стороне. А баллады про Геракла — в черной тетрадке.

Я решил не мешать им беседовать про нас, поэтов, и, поднявшись на цыпочках на полэтажа выше, вошел, сам не знаю почему, в спальню прадедушки. Может быть, я надеялся найти там какие‑нибудь еще неизвестные мне стихи или рассказы? Теперь я уже этого не помню. Но я и вправду нашел там одно стихотворение, которого еще не читал, и оно привело меня в ужас.

В одном из номеров «Морского календаря» между страницами был заложен кусочек картона, серый и ничем не примечательный, скорее всего просто закладка. Сам не знаю, по какой причине я вытащил эту картонку и увидел, что на ней хорошо знакомым мне почерком написано стихотворение. Это было, как оказалось, что‑то вроде завещания мне. Я читал со все возрастающим удивлением и испугом:

Что ж, Малый, прощай и подумай о том,

Что, каждый в свой час, мы из жизни уйдем.

А после рассудят, кто трус, кто герой,

Что было всерьез, а что было игрой.

А после ответят на сложный вопрос —

Где правда, где шутка, где шутка всерьез.

Но шуткам конец. Есть у жизни предел.

Я вот что сказать тебе, Малый, хотел:

Покуда ты в самом начале пути,

Шути, но всерьез, веселее шути.

Я сам так шутил. Но пусть каждый из нас

Спокойно уходит, уходит в свой час.

Я не был в герои назначен судьбой,

Я просто всегда оставался собой.

И ты оставайся собою, мой внук,

Всегда и во всем!

Твой Старый друг.

Не помню уже, что я сделал, прочитав это стихотворение. Помню только, что у меня было такое ощущение, будто сердце мое остановилось и я не могу двинуть ни рукой, ни ногой.

«Так, значит, он знает совершенно точно, что скоро пробьет его час… — думал я. — Он просто разыгрывает передо мной сильного и здорового, а на самом деле…»

И вдруг у меня появилось чувство, что прадедушка уснул там, наверху, в каталке, навсегда. Последним вечным сном, из которого нет пробуждения.

Сжимая в руке картонку, я бросился вверх по лестнице на чердак и, задыхаясь, с шумом распахнул дверь. В южной каморке все еще горел свет.

Прадедушка глядел на меня широко открытыми глазами. Его, должно быть, напугал мой испуганный вид.

Но, заметив в моей руке картонку, он улыбнулся — лицо его прямо озарилось от этой улыбки.

— Герои, Малый, — сказал он, — привыкают постоянно жить с мыслью о смерти. И сохранять спокойствие. Но, в сущности, все мы должны этому научиться. И ведь мы с тобой, не будем уж притворяться, тоже жили эту неделю с мыслью о смерти. О моей смерти, Малый. Только я куда живучее, чем думает доктор.

Какая‑то особенная светлая улыбка теперь уже не сходила больше с лица прадедушки. Она, так сказать, нашла себе здесь пристанище.

— Собственно говоря, — продолжал он, — я проживу еще довольно долго после моей смерти. Не обязательно в этих рыбацких штанах и шерстяных носках и в этих черных ботинках. Скорее как образ. В тебе. И в книгах.

— В каких книгах, прадедушка? — удивленно спросил я.

— В твоих книгах, Малый!

Улыбка его становилась все шире, словно лампа, которая разгорается все светлее.

— Ты подаришь мне что‑то вроде бессмертия. И продлишь мне жизнь, — продолжал он. — Я построил себе памятник в твоей памяти. И сделал это не без умысла, Малыш. Умру я теперь в один прекрасный день или нет, это не так уж важно. Лет через двадцать или тридцать ты поймешь это.

Лицо его почти светилось, когда он закончил:

— Возвращайся домой, к родителям. Я опять уже могу ходить. Каталку, в которой так легко думается, придется поставить в угол. А умру ли я и когда я умру, Малый, это совершенно все равно. Немного мудрости — все, что я скопил, — я хорошо пристроил. Ты никогда уже не будешь восхвалять мнимых героев.

Я стоял растерянный и смущенный и в замешательстве глядел на прадедушку. Только двадцать с лишним лет спустя я понял, что он имел в виду.

Надеюсь, моя книжка это доказывает.

1. Пегас — в греческой мифологии волшебный крылатый конь; кто его оседлает, становится поэтом. [↑](#footnote-ref-1)
2. Зигфрид — герой древнегерманского народного эпоса и эпической поэмы XII века «Песнь о Нибелунгах». По преданию, Зигфрид добыл «сокровище Нибелунгов», убив дракона Фафнира. Выкупавшись в крови дракона, Зигфрид стал неуязвимым, а съев его сердце, начал понимать язык зверей. [↑](#footnote-ref-2)
3. Геракл — самый популярный герой греческих мифов, совершивший двенадцать подвигов. [↑](#footnote-ref-3)
4. Зевс — в греческой мифологии царь и отец богов. [↑](#footnote-ref-4)
5. Еврисфей — в греческой мифологии царь Тиринфа и Микен, которому служил Геракл. [↑](#footnote-ref-5)
6. Цербер — в греческой мифологии свирепый трёхглавый пес, охраняющий выход из подземного царства. Подземное царство Аида в греческой мифологии — царство мёртвых. [↑](#footnote-ref-6)
7. Xарон — в греческой мифологии перевозчик в подземном царстве. [↑](#footnote-ref-7)
8. Гёльдерлин Фридрих — немецкий поэт‑романтик конца XVIII — начала XIX века. [↑](#footnote-ref-8)
9. Перевод В.Жуковского. [↑](#footnote-ref-9)
10. Диомед — царь Фракии, по преданию кормивший своих коней человеческим мясом. [↑](#footnote-ref-10)
11. Кортес Эрнан (Фернандо) — испанский конкистадор, завоеватель Мексики. Испанские завоеватели во главе с Кортесом истребляли и грабили коренное индейское население. [↑](#footnote-ref-11)
12. Диана — в римской мифологии богиня охоты, покровительница диких зверей. Ее священным животным считалась лань. [↑](#footnote-ref-12)
13. Нерей — в греческой мифологии морское божество, старец. [↑](#footnote-ref-13)
14. Гунь — крестьянская одежда в Черногории. [↑](#footnote-ref-14)